

С • Л • УТЧЕНКО

# ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
• НАУКА •  
МОСКВА 1966

Р И М  
ЛОНДОН  
ПАРИЖ

АКРОПОЛИ  
ЭЛЛАДЫ

ПОМПЕИ-  
ГОРОД  
ВЕЧНОЙ  
ЖИЗНИ

НИИ  
ТЕЧЕТ  
ОТ  
ПИРАМИД  
ДО  
АСУАНА

ОБ  
ИСТОРИЧЕС-  
КОЙ  
НАУКЕ

1—6—3  
428—65 (Доп.)

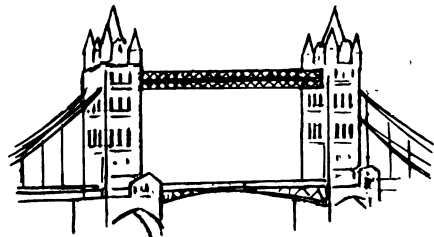
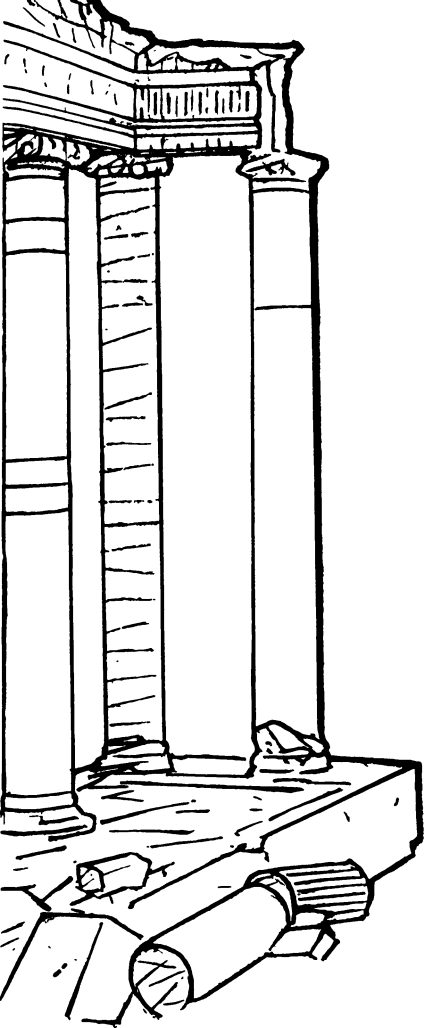
## От автора

**М**не хотелось бы предварить знакомство читателя с этой небольшой книжкой по крайней мере двумя замечаниями. Первое — о жанре книги. В ней собраны, за исключением последней статьи, путевые очерки, возникшие на основе непосредственных впечатлений, заметок, кратких записей в дневниках, которые я имел обыкновение вести во время своих поездок. Этим как будто и определяется жанр сборника. Однако помещенные в нем очерки имеют некую «претензию», которая, видимо, не ускользнет от внимания читателя и которую поэтому следует оговорить. Упомянутая «претензия» состоит в том, что в предлагаемых очерках автор пытается взглянуть на некоторые общественные явления как прошлого, так и настоящего глазами историка, дать им историческую оценку, что, кстати сказать, и обусловило название сборника в целом. Но с другой стороны — и это я хочу подчеркнуть с самого начала и самым решительным образом, — разрозненные наблюдения, впечатления и размышления автора, нашедшие свое отражение в очерках, никоим образом не претендуют и не могут претендовать на то, чтобы быть возведенными в ранг историко-научного исследования или хотя бы научно-популярного труда. В лучшем случае это лишь публицистика, связанная с некоторыми проблемами исторической науки. Таким образом, сам автор хотел бы — если это только не чрезмерное желание — определить жанр предлагаемой книги как сочетание путевого очерка с элементами научной публицистики.

Второе замечание сугубо практического порядка. Так как собранные в книге очерки возникали постепенно, на протяжении ряда лет, то вполне естественно, что кое-что из наблюдений и сведений, относящихся к современному положению той или иной страны, уже устарело и не соответствует сегодняшней действительности. Но я не считаю возможным исправлять и «модернизировать» соответствующие разделы очерков. Мне кажется, что самый жанр сборника (а он был только что определен), наоборот, требует того, чтобы по мере возможности оказалась сохранена и локализация во времени, и хотя бы какая-то свежесть восприятия. Поэтому каждый очерк сборника датируется, и я прошу читателя обратить внимание на это если и не главное, то все же существенное обстоятельство.

В заключение — несколько слов о последней статье. Она, несомненно, выпадает из общего жанра; это именно статья, а не путевой очерк, но я считаю возможным (и даже желательным) включение ее в данный сборник, поскольку она, по-моему, в не меньшей степени, чем все предыдущие очерки, соответствует названию книги в целом.





РИМ  
ЛОНДОН  
ПАРИЖ

## I

Стоит, очень стоит проплутать чуть ли не полдня по узким, часто дурно пахнущим улицам — как это и было со мною, — чтобы потом, выйдя из-под какой-то арки или из-за поворота, неожиданно для самого себя очутиться на площади святого Марка. Стоит потому, что она на самом деле хороша, пожалуй, слишком — до неправдоподобия — хороша, эта площадь, в которую даже не веришь.

Я впервые попал сюда в час *sorbetto*, т. е. когда отдыхающая или просто праздная публика слоняется под аркадами Прокураций, сидит за разноцветными столиками кафе «Флориан» и ест фруктовое мороженое (оно-то и называется *sorbetto*). Это — послеобеденный час, жара в это время уже спадает.

Сытой и ленивой толпой бредут через площадь туристы: они небрежно щелкают фотоаппаратами всех существующих в мире марок и стрекочут своими кинокамерами. Перед ними сам Сан-Марко — византийски приземистый, варварски великолепный. Для них же, конечно, и знаменитые голуби — их здесь тысячи и тысячи, вся площадь усыпана ими — самим венецианцам, я думаю, они надоели до смерти. А направо (если встать лицом к собору) начинается Пьяццетта, и там уже своя вечная и какая-то радостная суета — блеск лагуны, дворец Дожей, крылатый лев святого Марка на византийской колонне.

Много раз потом, вспоминая, я пытался понять, в чем необъяснимая прелесть этих двух площадей — вообще говоря, перегруженных, заставленных, как иногда комнаты лишней мебелью, — и решил, что все дело в удивительно



**ПЛОЩАДЬ СВЯТОГО МАРКА (ВЕНЕЦИЯ)**

найденных пропорциях расстояний, в какой-то предельной наполненности воздухом, пространством, светом. Вот почему любые снимки и воспроизведения — даже в кино, которое продолжает оставаться плоскостным, — не могут передать, хотя бы приблизительно всего очарования этих мест.

Ну, а затем, конечно, Большой Канал. Но он произвел на меня какое-то двойственное впечатление. Канал по обеим своим сторонам уставлен бесконечным рядом дворцов. Они великолепны, спору нет, но все же эти дворцы, с их чрезмерно звучными названиями — Ка д'Оро, палаццо Вендрамин, палаццо Корнер делла Ка Гранде и еще около сотни таких же звучных палаццо — что они такое? Только пышные надгробья, окаменелые памятники былого величия или есть в них какая-то жизнь и теперь? Кто в них живет, обитаемы ли они вообще? И что там внутри — современный комфорт, мебель стиля модерн или романтическая паутина, сгнившие полы, мерзость запустения? Я не знаю этого, да и не особенно интересовался знать, но когда проезжаешь эту часть канала, возникает странное и даже тягостное ощущение: словно ты уже здесь был, словно ты в городе из снившегося тебе сна, городе, который, быть может, вовсе и не существует. И только когда заедешь далеко за Риальто (по направлению к вокзалу), и начинается более демократическая часть канала — какие-то склады, дома, уже ходят люди — видишь, как постепенно возвращается жизнь на его берега. Кстати — для справки и для восстановления местного колорита — по Большому Каналу я проезжал, и неоднократно, но не в гондоле, как то может представить себе иной читатель, потому что в гондолах — как и на извозчиках в Риме — катаются преимущественно американские туристы, а на речном трамвайчике — мотоскафе, как обычно ездят сами венецианцы.

Кроме площади святого Марка, Пьяццетты и Большого Канала, пожалуй, в Венеции ничего особенного больше нет.

Но и этого достаточно, чтобы сделать ее единственной, не сравнимой ни с одним другим городом в мире. Вместе с тем — и такой вопрос впервые встал передо мною именно в Венеции — разве это город, в котором можно жить?

Как ни странно, подобного рода сомнения одолевали меня еще не раз и не только в Венеции. Остановливаясь во время моих разъездов по стране в том или ином городе, осматривая его, часто даже восхищаясь им, я вдруг ловил себя на мысли: а мог бы я здесь, в этом городе, жить? И внутренний ответ всегда был отрицательным. В чем же дело?

Небольшие итальянские города — причем, на мой взгляд, не южные, а те, что расположены севернее Рима, — очаровательны. Вот, к примеру, Перуджа, где все, созданное Италией, почти в камерных масштабах: нетяжелая пышность дворцов, старый Университет, сбегаящие под гору путаные улочки, ступенчатые переходы, полуобвалившиеся арки, увитые плющом и розами. А Сиена, с ее мягким пейзажем, с изумительной Пьяцца дель Кампо, покатою площадью, и надписью на городских воротах: *Cor magis tibi Sena pandit*. («Сиена открывает тебе все свое сердце»). А строгая Равенна, где Византия еще пытается спорить с варварством — прославленные на весь мир мозаики, дворец Теодориха, мавзолей Галлы Плакидии, куда свет — воистину мистический *lumen coeli* — проникает не сквозь стекла или слюду, а сквозь прозрачный алебастр.

И, наконец, сама Флоренция — в короне окрестных холмов, всегда в тончайшей дымке — «умбрийская гарь» — видимая так из садов Бóболи или с Пьяццале Микельанджело, где так любят фотографироваться новобрачные, или — всего лучше — с высот Фьезоле; здесь к тому же прелестная маленькая церковь Сан-Франческо: тишина внутреннего двора, цветущие деревья, плеск воды.

Все это на самом деле и прелестно, и очаровательно, и еще все что угодно; но если отказаться от восторженных эпитетов и попытаться спокойно разобраться в своих ощущениях, то в чем, собственно говоря, прелесть этих городов? Не в том ли, что осталось в них от прошлого, не в памятниках ли бывшей здесь когда-то жизни, т. е. в прошедшем, а не в настоящем, или, другими словами, в том, что ныне интересно лишь «просвещенному» туристу, в лучшем случае историку. Вот, скажем, так: «Перед вами, синьоры, Ponte dei Sospiri — Мост Вздохов, по которому проводили в свинцовые камеры осужденных Советом Десяти»; или: «Эта каменная плита на площади Синьории указывает место, где 25 мая 1498 года был сожжен Савонарола»; или еще: «А вот Forum Romanum — средоточие политической жизни древнего Рима, где некогда гремели речи Цицерона, где было предано огню тело убитого Цезаря».

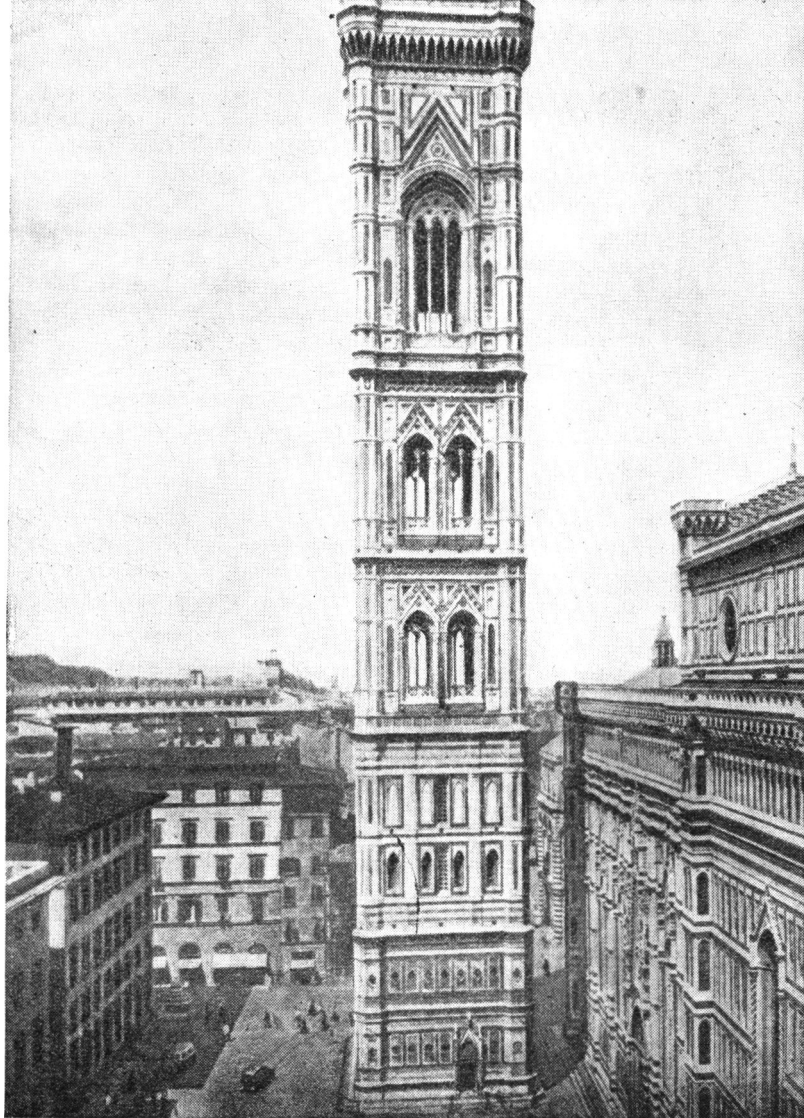
Но ведь это действительно только прошлое, иногда величественное, почти всегда, если говорить об Италии, пластически прекрасное, но — прошлое, а все-таки жить — жить и действовать — как будто можно лишь в настоящем. И поэтому невольно встает вопрос: каково же это настоящее? Так ли оно красочно, так ли величественно и пластично, как выглядит ныне прошлое этой страны?

Ответ на подобный вопрос — нелицеприятный, «зрительный» ответ — дают опять-таки сами итальянские города. Вот, к примеру, Неаполь.

Есть, вообще говоря, два Неаполя. Один из них... Но в этом месте я вынужден сделать некоторое отступление. И вот почему.

---

колокольня джотто (флоренция)



Ага! — скажет догадливый читатель.— Два Неаполя? Знаем, слышали! Это, значит, Неаполь — город миллионеров и Неаполь — город бедняков. Социальное расслоение, язвы капиталистического быта. С одной стороны, роскошные набережные, отели, витрины, с другой,— жалкие хижины, сколоченные из фанеры. Не только слышали, но и видели! В кино. В неореалистических фильмах.

Дорогой читатель, ты прав. Ты прав вдвойне, ибо все так и есть, причем не только в фильмах, но и на самом деле. Однако, говоря о «зрительном» ответе, т. е. чисто зрительном впечатлении, которое до сих пор остается для меня наиболее ярким, а потому и наиболее достоверным, я имел в виду нечто иное. А следовательно, и разграничительная линия должна быть проведена несколько по-иному.

Итак, есть два Неаполя. Один из них— это Кастьель Нуово, это вид с Позилиппо — все тот же вечный, избитый и все же неотразимый вид на залив и на Везувий,— это дворец донны Анны и, наконец, знаменитая гавань Санта-Лючия, про которую в моем путеводителе сказано: «...место, наиболее охотно посещаемое влюбленными и нищими» (!). Это — Неаполь открыток, Неаполь туристов.

Но есть, конечно, и второй Неаполь — улочки, где трудно разъехаться двум велосипедистам, где мусор и отбросы свалены прямо на мостовую, где пресловутое белье на веревках, протянутых через всю улицу, от дома к дому, где ничем не прикрытая вопиющая нищета, где нередко вместо завтрака, обеда и ужина — пицца, сухая, горячая лепешка, слегка помазанная сверху томатным соусом. Но, как ни удивительно, именно к этому Неаполю я бы отнес и роскошные отели, и знаменитые эспланады Виа Караччоло и Ривьера ди Киайа, и все магазины, кафе и рестораны, ибо только этот Неаполь есть живой современный город, со всеми свойственными нашей современной жизни контрастами и противоречиями.





ГАВАНЬ САНТА ЛЮЧИА (НЕАПОЛЬ)

А вышепоименованные Капель Нуово, палаццо донны Анны и даже сама Санта-Лючия — это прошлое, это, собственно говоря, музейные экспонаты, если еще как-то поддерживаемые, то лишь в интересах той своеобразной индустрии, которая при отсутствии на юге Италии серьезной промышленности, пожалуй, одна только и процветает, — индустрии туризма.

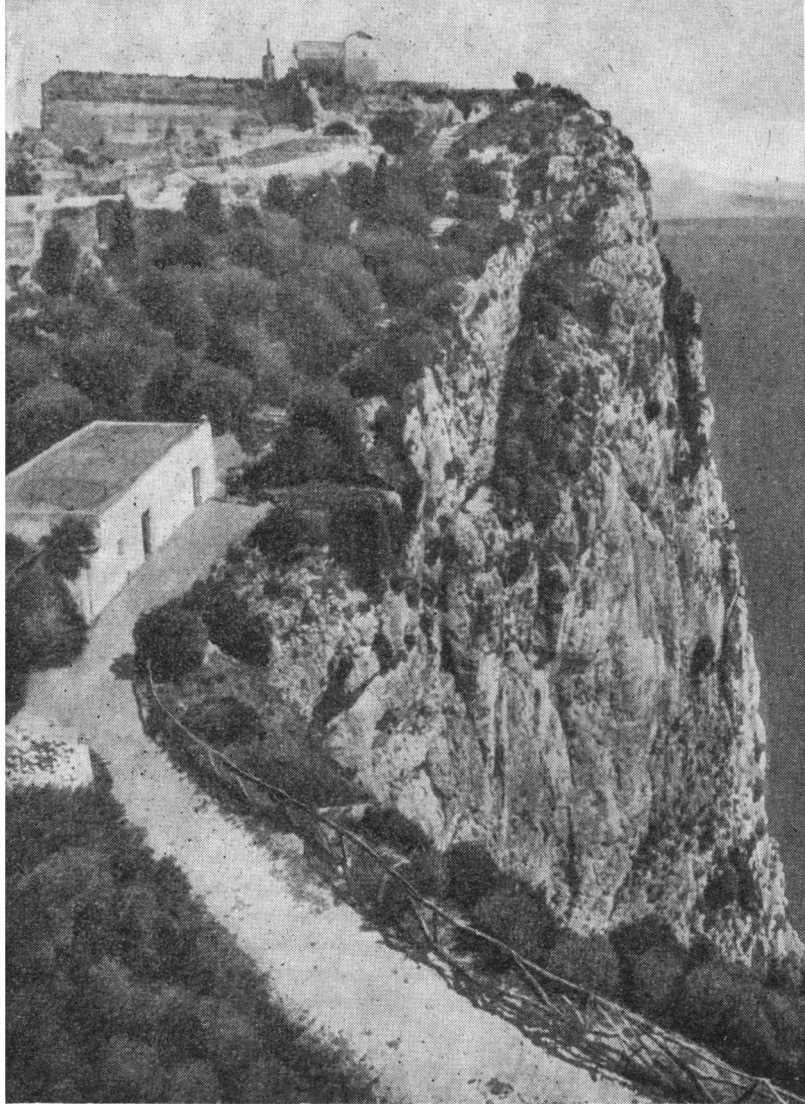
Кстати, Неаполь — далеко не самый удачный пример. Все, о чем сейчас было сказано применительно к Неаполю, можно отнести — и даже с большим основанием — ко многим другим городам Италии. Почти в каждом городе, не исключая Рима, есть два города: один — для туристов и открыток, другой — для самих жителей. Один — город величественного прошлого, другой — иногда довольно неприглядного настоящего. Вот, скажем, некий городок Пульяно: вас потрясает величие мертвого Геркуланума (ибо Пульяно — это и есть Геркуланум, его нынешнее название), но пройдите хотя бы до вокзала — в самом центре современного городка не менее «потрясающая» по своей нищете и красочности «барахолка», где торгуют такой рванью, что только диву даешься, как и кто способен покупать подобный «товар». Но тем не менее торговля идет бойко, с итальянским галдежом, давкой. ссорами и даже пением.

Нигде я не видел таких жалких нищих, такой бедноты и грязи, как на юге Италии, и вместе с тем нигде не встречал более живого, страстного и располагающего к себе народа.

Вообще итальянцы — милый народ. Существует старый рассказ: некто, впервые собираясь в Италию, осведомлялся у более опытного путешественника, каким образом следует

---

СКАЛА ТИБЕРИЯ (КАПРИ)



ему держать себя в этой стране, в соответствии с ее нравами и обычаями. «Вам приходилось бывать в Германии?» — был встречный вопрос. — «Да, конечно». — «Ну, если вы бывали в Германии и знаете, как там следует себя держать, в Италии поступайте как раз наоборот!»

И действительно, нет, пожалуй, в Европе двух более несхожих в своем быту народов, чем немцы и итальянцы. Все, что в этом смысле свято для каждого немца, в Италии легкомысленно попирается ногами. Если, к примеру, итальянец видит на железнодорожном переезде опущенный шлагбаум, это его никак не остановит: он пролезет под ним или даже перелезет через него, но ждать не станет. На улице, в кино, в вагоне все, что хотят бросить, тут же бросается на пол или на землю. Однажды я не без спортивного интереса наблюдал, как на вокзале в Неаполе, пока поезд еще не отошел, пассажиры, сидевшие в вагоне, бросали апельсиновые корки в открытое окно, нимало не заботясь о том, что они могут попасть в проходящих по перрону. Кое-где на улицах — даже в Риме — вас могут облить с балкона вчерашним супом, если не чем-нибудь похуже. В Германии все это, конечно, немыслимо. Итальянские дети — они особенно хороши — растрепаные, часто грязные, тоже совсем не похожи на известных своей благопристойностью немецких детей. Мальчишки, как все мальчишки мира, играют в футбол, но здесь почему-то в самых неподходящих местах: под стенами Колизея в Риме или — как в Равенне — в «зоне молчания» вокруг могилы Данте.

Итальянцы радушны и словоохотливы. Они, по-моему, почти всегда искренни, даже когда говорят неправду. Это и понятно: у итальянца движение его души в каждый данный момент настолько импульсивно, что оно начисто вытесняет все, что этому движению мешает или противоречит. Это не уловка, не сознательный прием, это — темперамент.

Как-то раз в купе поезда пожилой уже человек — как выяснилось из разговора шофер автобуса — слегка подвыпивший, но не пьяный (он ехал со свадьбы), узнав, что я русский, советский, бросился меня обнимать. Мы расцеловались, и он, безусловно желая от всей души сказать и сделать мне приятное, стал убеждать меня в том, что они, итальянцы, всегда ненавидели гитлеровцев (это допускаю!) и что они всегда вместе с нами, русскими, их били (это, очевидно, можно допустить лишь с существенными оговорками). Он не был неискренен — в этом я уверен, но темперамент, да еще подогретый соответствующей дозой кьянти, увлекал его в этот момент в одну определенную сторону.

Кстати сказать, с проявлениями — и даже довольно бурными — симпатии к советским людям я сталкивался не раз. Помню, не то в Падуе, не то в Ферраре я спросил дорогу у человека, стоявшего на углу улицы и раздававшего какие-то рекламные афишки. Мы немного разговорились. Поняв без особого труда по моему итальянскому языку, что я иностранец, он спросил меня, откуда я приехал. И он даже не сразу поверил моему ответу. «Как, из России? Когда же вы оттуда? Всего месяц? Из Советской России?» — тут он вдруг швырнул наземь охапку своих афиш и, протягивая мне руки, закричал: «Товарищ!». Да, славный, приятный народ — итальянцы!

Из всех городов, которые мне довелось повидать в Италии, самым неинтересным оказался Рим. Во-первых, он неинтересен и даже неприятен в архитектурном отношении. На весь город наложил свой отвратительный отпечаток архитектурный модерн конца XIX — начала XX в., стиль, — если только он вообще заслуживает этого названия, — убивший развитие архитектуры по меньшей мере на полстолетия.

Не могу до сих пор без чувства искреннего огорчения вспомнить свою первую прогулку по городу, хотя маршрут был избран мною совершенно случайно. Я шел по Виа

Национале, одной из центральных улиц Рима. Дома на ней тяжелы и претенциозны. Дойдя до конца улицы, я повернул направо и вышел к площади Венеции. Тут меня ожидало, в полном смысле слова, тяжелое моральное потрясение.

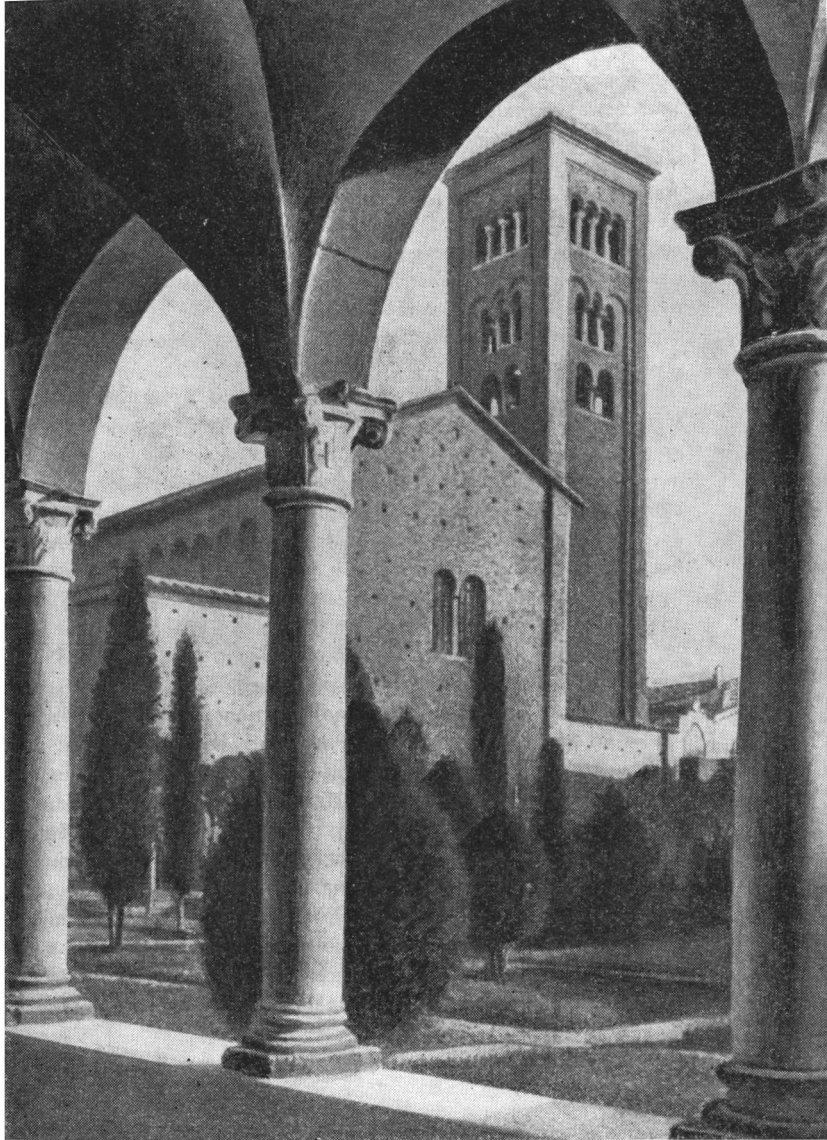
Прямо передо мною, господствуя над окрестным городом, вздымалось нечто совершенно неопишное в смысле своих форм и пышности, нечто, похожее на огромный, затейливо украшенный торт с кремом,— монумент Виктора-Эммануила. Он ужасен. Правда, подобного безобразия не встретишь, пожалуй, больше нигде во всей Италии, зато улиц в таком духе, как Виа Национале, вполне достаточно и в самом Риме, и в других городах.

И хотя в иных путеводителях по Риму говорится, что триумфальные арки времен империи, средневековые храмы и современные здания взаимно и органически дополняют друг друга, это совершенно неверно, и барочный храм рядом с Корбюзье, конечно, друг друга лишь взаимно портят. Папский Рим пышен и тяжел, античный представляет скорее археологический, чем архитектурный интерес, а современный Рим — как ни кощунственно это звучит — безвкусный город.

Быть может, покажется странным, что я начал разговор о Риме в сугубо «архитектурном аспекте». Но это не случайно. Я поступаю так вполне сознательно и даже с намерением, ибо для меня это вовсе не «искусствоведческий» аспект. Рим, как-никак, прежде всего — исторический город; а в чем еще может выразить себя «зрительнее» и ярче та или иная историческая эпоха, как не в зодчестве? Из всех «изящных искусств» зодчество, архитектура, пожалуй, единственное, что перерастает рамки искусства в прямом (и по-

---

«ЗОНА МОЛЧАНИЯ» ВОКРУГ МОГИЛЫ ДАНТЕ (РАВЕННА)



тому — узком!) значении слова: замысел архитектора не может быть воплощен в жизнь без труда каменщика.

Но камень, как мы знаем, был первым материалом, которого коснулась и рука и творческая мысль человека. За те несколько сот тысяч лет, что истекли с этого момента, человечество все же приобрело известный опыт в обращении со своим исконным материалом и — куда в меньшей степени! — со своими собственными мыслями. Вот почему материальные памятники, а среди них творения зодчества, и теперь говорят с нами нередко более достоверным языком, чем иные книги. Это знает каждый историк.

Об эпохах позволительно судить по их строительному материалу, о вкусах и духовных запросах поколений — по аркам, перекрытиям, контрфорсам. Но если так, то, скажем, путь, пройденный западноевропейским искусством, а пожалуй, и шире — цивилизацией, — что это такое? Быть, может, истолкованный пластически и «зрительно», он всего-навсего лишь повторение, лишь некий итог развития классических ордеров: он мудрой простоты дорического ствола до бесплодной изошренности коринфской капители?

Во-вторых, мне Рим не понравился потому — и это уже совсем из другой оперы, — что здесь слишком сильно пахнет католической церковью. Конечно, ею попахивает — и изрядно — по всей Италии, но в Риме это просто бьет в нос. Начать хотя бы с того, что здесь невероятное количество монахов. Чуть ли не каждый пятый встречный на улице — монах; они едут в автобусах, трамваях, они мчатся с бешеной скоростью на мотоциклах, они стоят в очереди за экстренными выпусками газет, на них натыкаешься в общественных уборных. Они — черные, коричневые, синие, красные; одни, несмотря на жару, в наглухо застегнутых одеждах и в сапогах, другие — в каких-то элегантных рубищах, подпоясанных подобием веревок, и в сандалиях на босу ногу. Здесь,





ВИА НАЦИОНАЛЕ (РИМ)

видимо, представлены все существующие монашеские ордена. Отвратительное впечатление производит церковь ордена капуцинов S. Maria della Concezione, где в подвалах можно любоваться «панорамными картинами», сложенными из костей, черепов и целых скелетов.

В первый день пасхи я пошел на площадь святого Петра послушать торжественную мессу. Перед главным порталом собора был выстроен длинный деревянный помост. Сначала на нем состоялся парад ватиканской гвардии; форма — черное с белым, черные треуголки с красными султанами. Затем помост сплошь заполнило духовенство. Все это — под колокольный звон и военные марши вперемежку. Самая месса продолжалась около часу, служил ее какой-то важный кардинал. Гвардия по команде стала на колени и так простояла всю службу. Игра органа транслировалась на площадь из собора.

Ровно в двенадцать часов в центральной лоджии собора появился папа (это был ныне умерший Пий XII) в сопровождении четырех кардиналов. Они в алом облачении, папа — в белом. Его встретили, к моему удивлению, криками и аплодисментами, как тенора в опере.

Папа произнес небольшую — так, минут на пятнадцать — речь, в которой высказался за мир между народами и отрицательно отозвался об атомной бомбе. После окончания речи (говорил он, конечно, по-итальянски) папа обратился — и это было самое любопытное — с краткими приветствиями к католикам различных стран. Причем эти приветствия (варьируя их содержание!) он произнес на французском, английском, немецком, испанском, португальском и голландском языках. После этого папа прочел латинскую молитву, которой — если только я правильно понял — он давал отпущение грехов всем присутствующим, в том числе, значит, и мне. В заключение в центре площади, у обелиска, была выпущена на воздух

большая стая белых голубей, чем весь спектакль и закончился.

К сожалению, это не просто спектакль в пышных декорациях. За всем этим стоит могущественный — недаром Ватикан продолжает оставаться самостоятельным государством — разветвленный аппарат со своей изощренной администрацией и дипломатией, со своей чрезвычайно высоко поставленной системой образования, с огромными средствами, с веками накопленным опытом лжи, обмана, интриг, провокаций. Вот уж где поистине мертвый хватается живого! Вот когда невольно вспоминается одно подходящее определение из Гольбахова «Карманного богословия»: «Вампиры. Так называют мертвецов, которые забавляются высасыванием крови из живых. Быть может, вольнодумцы усомнятся в существовании такой нечисти, пусть же они откроют глаза, и они увидят труп, высасывающий кровь из живого организма общества. См. Монахи. Священники. Духовенство».

Не приходится, конечно, преуменьшать авторитета и влияния католической церкви даже в наше время. Но, с другой стороны, не стоит, пожалуй, его и преувеличивать. «Средний» итальянец — как вообще всякий «средний католик» — безусловно, верующий. Но во что? Я далеко не убежден, что этот «средний» итальянец верит в бога, но он, несомненно, верит в то, что в бога ему следует верить, что ему следует ходить в церковь, если не всегда, то хоть по большим праздникам, следует выполнять некоторые обряды (к примеру, крестить детей), следует признавать — если нельзя уважать — духовенство. Кроме того, он верит во всякие чудотворные иконы, мощи, предсказания и приметы, пожалуй, больше и искреннее, чем во все остальное.

Ну, что ж, это так, и с этим нельзя не считаться. Интересно, однако, что наряду с подобными, твердо установившимися взглядами и привычками в широких кругах населения

(в том числе и среди правоверных католиков!) идут какие-то глубинные процессы, которые иногда выплескиваются наружу в довольно своеобразной форме. Так, однажды на выборах по тому избирательному округу Рима, куда входит Ватикан и который в остальной своей части имеет смешанный состав населения, баллотировался наряду с другими депутат от коммунистической партии. Когда мне об этом говорили в Риме, я был удивлен и не мог понять, зачем выдвигать кандидатуру на верный провал. Но знающие люди сказали, чтобы я не торопился с выводами насчет этого кандидата. Как я узнал позже, именно он и был избран в сенат.

По-моему, это интересный пример. Он, очевидно, подтверждает тот, гораздо более широкого значения факт, что в итальянском народе есть — и не малые — силы, обращенные к прогрессу против реакции, к будущему против прошлого. Об этом мне хотелось бы сказать хоть несколько слов.

Из всего того, что уже говорилось выше, читатель может вывести заключение, что Италия — «антиквизированная» страна, страна, живущая воспоминаниями о своем великом прошлом, даже эксплуатирующая это великое прошлое, но в настоящее время — страна малых дел и провинциальных масштабов. Не скрою, именно таким и было мое первоначальное впечатление. Более того, в определенном аспекте мне говорили об этом сами итальянцы, причем говорили люди передовые, прогрессивно мыслящие.

Однако это так и совсем не так. На самом деле за ветхими декорациями античности или средневековья, за зримой для туриста повседневной суетой идут, как было уже сказано, более глубокие, не всегда видимые сразу, но тем не менее крайне важные, может быть определяющие все дальнейшее развитие страны процессы.

Очевидно, главным фактором следует считать широкое демократическое обновление страны после свержения фа-

шистского режима. Говоря об этом, я имею в виду не только и не столько относительную демократизацию государственного аппарата или политической жизни страны в целом, сколько те явления, которые в свое время Пальмиро Тольятти определил как великое пробуждение политического сознания народных масс.

Это «пробуждение» сказалось прежде всего в неуклонном росте авторитета итальянской компартии. И в смысле влияния, и в смысле численности она — крупнейшая политическая сила в стране.

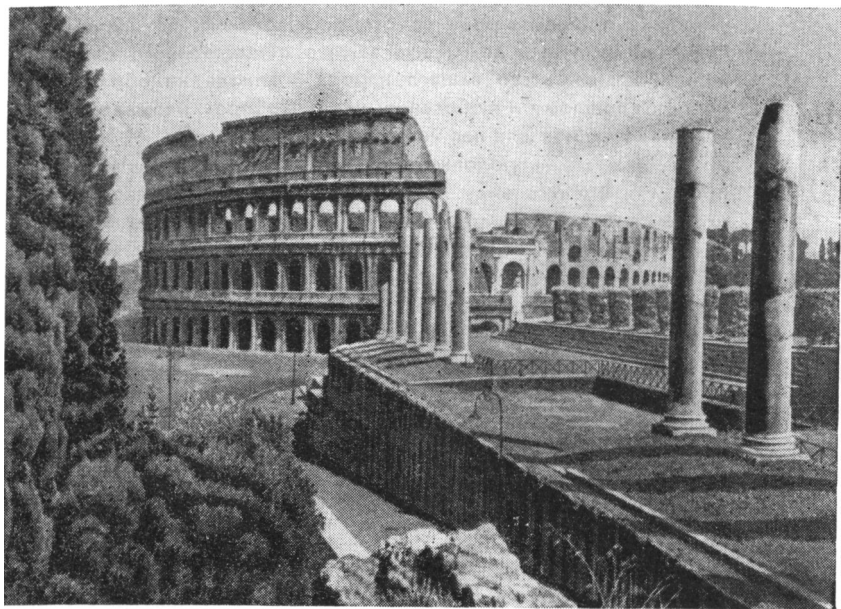
Но тем не менее перед итальянской компартией еще стоит задача завоевания масс. В Италии, где была и остается значительной силой мелкобуржуазная стихия, очень велико значение так называемых «средних слоев». Вопрос об этих «средних слоях» — сложный вопрос. Эти слои населения — и в смысле своего социального положения, и в отношении своих политических симпатий — пестрый конгломерат, своеобразный сплав, который в политической жизни и борьбе часто выполняет функции некоего амортизатора. Вот почему через эту огромную — в основном мелкобуржуазную — толщу не всегда легко пробиться наружу прогрессивным идеям, силам, движению.

Вот почему, бродя по Риму, который мне так не нравился, я не мог полностью отделаться от первоначального впечатления, что еще многое в этой стране в настоящем — ненастоящее, а настоящее и стоящее — в прошлом. Вдоль улицы *Via dei Fori* в стену Форума вделаны четыре выбитые на меди карты: Рим — маленький городок на Тибре, Рим — после Пунических войн, Рим — в эпоху Августа и, наконец, Римская империя в период своего наивысшего территориального расширения, т. е. во времена Траяна. Возможно, что незадачливый дуче, который, кажется, и проложил эту улицу, мечтал, как он со временем вделает в стену Форума

птяую карту — карту его империи, но ведь слишком хорошо известно, что из всего этого получилось. Потому история Рима завершается здесь вторым веком нашей эры, а сам Forum Romanum — особенно если смотреть на него с обрыва Капитолия, когда он виден вплоть до Колизея и лежит внизу, в своих величественных и жалких развалинах, — достаточно убедительное свидетельство того, что осталось к нашему времени и от этого истинного величия. Кстати, когда смотришь на такие всем известные памятники, то в голову приходят всем известные фразы, и оттого, глядя на Форум, обязательно хочется произнести: «Sic transit gloria mundi».

«Sic transit!» — сказал мне один мой знакомый, итальянский историк, человек далеко не обычной судьбы и разносторонних дарований. Между прочим, он неоднократно бывал в нашей стране и даже жил в ней. Разговор у нас вышел как раз насчет прошлого и всяких памятников старины. Мой знакомый сказал, что, когда он был в нашей стране в первый раз и много ездил по старым русским городам, он был удивлен нашим не очень заботливым, а иногда просто небрежным отношением к памятникам прошлого. Он сказал также, что наши Владимир, или Суздаль, или Ростов Великий, при должном к ним отношении, могли бы быть не менее знамениты, чем Равенна, Падуя или некоторые другие итальянские города.

— Сначала, — сказал он, — меня как историка все это даже огорчало. Но потом я понял, что был неправ. Во-первых, памятники старины, памятники искусства в вашей стране не являются, как, скажем, у нас, в Италии, своеобразной и вместе с тем весьма прибыльной статьей национального дохода. Затем — и это, по-моему, главное — я убедился, что ваш народ ничуть не меньше, чем любой другой, чтит свое историческое прошлое, но зато у вас начисто отсутствует столь типичное для Запада эстетское, слезливо-восторженное



РИМСКИЙ ФОРУМ И КОЛИЗЕЙ

умиление прошлым ради самого прошлого. И вот почему. Основной импульс, доминанта вашего общественного бытия, воли и чаяний всего вашего народа — отнюдь не обращенность к прошлому и любованье им, а, наоборот, небывалое и, увы, недоступное для нас устремление в будущее.

У нас же,— продолжал он,— поклонение прошлому — причем я имею в виду не только Италию, но и некоторые другие европейские страны — все больше и больше возводится в подлинный культ. Отсюда, кстати, преимущественный интерес к древней или средневековой истории. Отсюда же несравненно более бережное и более заботливое отношение к руинам любого захудалого замка, чем к жилым домам.

— Как знать!— воскликнул мой знакомый.— Быть может, именно в этом одно из коренных отличий вашей страны от дряхлеющего европейского мира. Знамение века! История величия западных держав, эпоха их расцвета, увы, позади. Если быть строго объективным,— а, очевидно, такова обязанность каждого добросовестного историка,— то придется признать, что Италия в так называемое новое время вообще не имела истории. Ее история, эпоха ее общеисторического значения кончается в лучшем случае временем Венецианской и Генуэзской республик, т. е. XV—XVI вв. Нельзя же в самом деле брать всерьез те печальной памяти попытки возродить «великую империю», которые предпринимались фашистскими правителями и которые выглядели бы просто смехотворно, если б не было во имя этого пролито столько крови. Что касается других «великих держав», то в этом же смысле история Франции кончилась еще под Седаном. История «величия» Британской империи, как я полагаю, кончается позднее — во время последней мировой войны. Она кончается в наше время и на наших глазах.

Вот о чем говорил мой собеседник. Я не собираюсь сейчас с ним полемизировать или уточнять наши разногласия —





**ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ (РИМ)**

к этому мы еще вернемся,— но я должен сказать, что в дальнейшем мне не раз приходили на ум его слова, и прежде всего во время моего пребывания в Англии.

## II

От Италии у меня впечатления главным образом зрительные, от Англии — умозрительные. Впрочем, в отношении Англии следует сразу же сделать оговорку: страну я видел плохо и мало, был в основном только в Лондоне. Но думаю, что Лондон — город, в котором живет чуть ли не пятая часть всего населения Британских островов,— может дать определенное представление о стране в целом.

Во всяком случае, мои общие впечатления от Англии вполне определены. Это страна основательная и солидная. Пожалуй, именно и прежде всего — солидная, лучшего определения не подыщешь. Англия, конечно, и сейчас крупнейшее западноевропейское государство, с первоклассной промышленностью, с высокоразвитой экономикой, государство богатое, умное и авторитетное. Влияние Англии на целый ряд стран, в том числе и на те, которые были еще совсем недавно ее колониями, а ныне добились независимости, отнюдь не прекратилось, и его нельзя недооценивать. В силу всех этих причин в самой Англии очень устроенная жизнь — неторопливая, устойчивая и даже как будто вполне благополучная.

Но вместе с тем нигде с такой гнетущей отчетливостью — стоит только внимательнее присмотреться к своеобразному механизму повседневной жизни англичан — я не ощущал того внутреннего омертвления, той странной оцепенелости, которая постепенно, но, на мой взгляд, со все возрастающей силой охватывает английское общество. Как будто этот веками

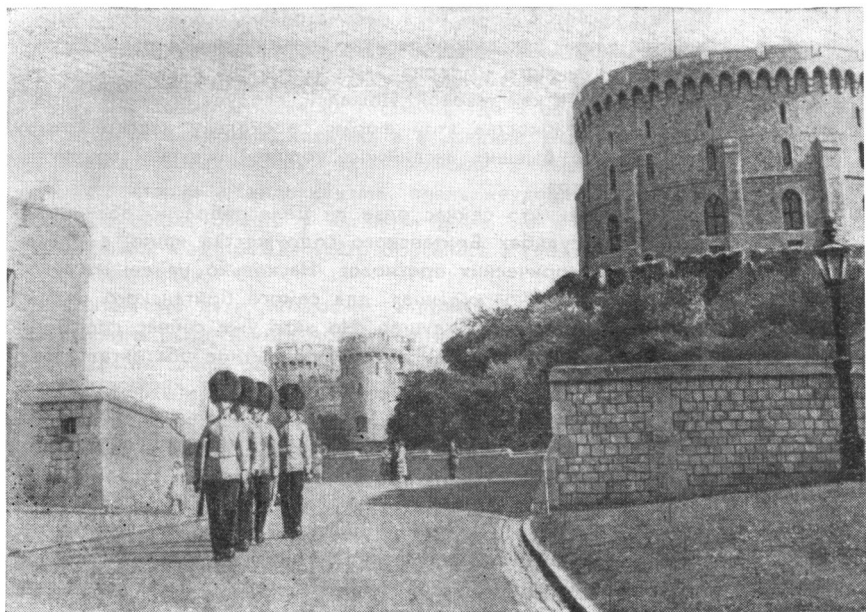


МОСТ ЧЕРЕЗ ТЕМЗУ

налаженный, до сих пор хорошо и заботливо смазываемый механизм работает — все больше и больше — вхолостую. Конечно, я далек (как, впрочем, и мой итальянский собеседник!) от вульгарного намерения предрекать полный развал Британской империи в ближайшие месяцы или даже годы. Я знаю, что минуты истории — это долгие десятилетия в жизни поколений, но я знаю и другое: нет и не может быть ничего важнее — как в жизни отдельного человека, так и в исторической жизни страны, — чем ощущение перспективы, возможности поступательного движения.

Имеются ли ныне такие возможности в Британской империи? И прежде всего, что такое ныне Британская империя, что она собою представляет?

Сами англичане отвечают на этот вопрос по-разному. Я очень часто слышал в Англии фразы вроде: «во время империи» или «когда мы были империей» и т. п. Англичане, которые так говорят, очевидно, считают, что Британской империи более не существует, но, признавая это, все же не хотят и не могут с этим примириться и переживают крах империи как национальную трагедию. Их позиция во всяком случае ясна. Другие же (и таких, пожалуй, большинство) страстно уверяют всех — в том числе и самих себя, — что по существу ничего не изменилось и Британское содружество наций — та же империя. Найдены лишь — в зависимости от условий и времени — новые, более гибкие формы. Сторонники подобной точки зрения ссылаются — не замечая при этом, что впадают в явное противоречие — именно на гибкость своей дипломатии и на мудрость своих правителей, которые якобы своевременно поняли, что Англия уже не занимает и не в состоянии занимать то место в мире, которое принадлежало ей «по праву» до обеих мировых войн, и что было бы неразумно претендовать теперь на это место и потому, мол, и избран новый путь.



ВИНДЗОРСКИЙ ЗАМОК

Что касается меня, то я рассматриваю Британское содружество наций как своеобразную попытку или форму сохранения британского империализма, даже без наличия Британской империи как таковой. Пожалуй, следует признать определенную «гибкость» этой формы, поскольку известно, что большинство бывших английских колоний все-таки вошло в «содружество».

Я думаю, что сейчас едва ли целесообразно обсуждать вопрос о судьбах Британского содружества наций в плане каких-то исторических прогнозов. Насколько найденная форма действительно «удачна» для самого британского империализма — покажет будущее. Но зато уже сейчас достаточно ясно вырисовывается другое любопытное обстоятельство: в какой мере оказался активен в поисках «новых форм» британский империализм, в той же мере оказывается пассивна — я бы даже сказал, негативна — традиционная английская демократия. И действительно, во всем, что так или иначе касается этой демократии как определенного политического строя, как строя английской жизни, нельзя усмотреть ни малейшего стремления к поискам каких бы то ни было новых форм. Наоборот, все, что я видел в Англии и что характерно для этой страны, может лишь подтвердить подобный вывод.

Говоря об этом, я имею в виду не только всем известную особенность англичан — любовь к историческим традициям. Она в конце концов проявляется по-разному. Оперные парады конной гвардии или смена караула у Букингемского дворца — развлечение довольно невинное, оно никому и никак не мешает. Но существует другое проявление названной выше особенности, осязаемое уже повседневно, — это, признаться, и поразило меня более всего в Англии, — необычайная старомодность английской жизни сейчас, в настоящее время.

Эта старомодность — во всем: в архитектуре домов, каминах (тем более электрических!), розах в петлице у мужчин на улицах, конструкции лондонских автобусов, оформлении витрин магазинов. В номерах гостиниц, где я останавливался (не в самых шикарных, конечно, а в средних, рядовых), везде стояла старая мебель, не старинная в смысле стиля, а просто старая и, надо сказать, очень неудобная. Мне не часто случалось бывать у англичан дома, но в тех домах, где я бывал, мне прежде всего бросалась в глаза старомодность обстановки.

В этом же духе, по-моему, и пресловутое своеобразие английского быта, которым сами англичане весьма гордятся и неизвестно зачем тщательно охраняют. К примеру, левостороннее движение. Во всем мире ездят по правой стороне, только в Англии (а следовательно, и в бывших английских колониях, да еще в Японии и, кажется, в Швеции) почему-то должны ездить по левой. Из-за этого в Лондоне очень трудно переходить улицу. Переходя, по привычке поворачиваешь голову налево, а в это время справа на тебя кто-нибудь уже наезжает. Англичане меня уверяли, что обычай левостороннего движения перенят ими от древних римлян: те, как известно, ездили верхом, а садиться на лошадь с левой стороны удобнее, чем с правой; вот, мол, откуда езда по левой стороне.

Англичане все еще не признают метрических мер. Вместо километра у них какие-то мили, вместо килограмма и грамма — фунты и унции, причем соотношение между этими двумя последними мерами постичь, по-моему, невозможно. Но, пожалуй, самое забавное — это монетная система. Вам говорят: такая-то вещь стоит два с половиной шиллинга, вы невольно даете два шиллинга и пять пенсов — неверно, ибо в шиллинге не десять, а двенадцать пенсов. Существует монета в полкроны, но кроны не существует. Совсем странная

денежная единица — гиней: она равна одному фунту и одному шиллингу; непонятно, зачем она нужна, тем более что такой монеты вовсе и нет, но как денежная единица гиней весьма употребительна, и цены в магазинах (особенно в широчайших) указываются именно в гинейях.

Все это, может быть, и пустяки, даже милые, забавные пустяки, но дело в том, что не менее старомодной и не менее обветшалой выглядит ныне и сама английская демократия. В чем она состоит? Что она дает рядовому английскому гражданину? Только то, что он раз в пять лет может голосовать за лейбориста или консерватора? А в остальное время? В остальное время он лишь может удостовериться, что спикер в парламенте по-прежнему сидит на мешке с шерстью, или может пойти в воскресенье в Гайдпарк, где какие-то жалкие, чудаковатые личности ораторствуют главным образом на религиозные темы и где, конечно, никогда ничего серьезного не происходит. Но пресловутый мешок с шерстью или «вольные» митинги в Гайдпарке — это ведь традиционные и всемирно известные основы английской демократии!

Ну, что ж, вероятно, когда-нибудь так и было (еще при Герцене, что ли!), но в наше время рядовой англичанин — мелкий служащий, клерк — мало интересуется проблемами демократии. Он интересуется тем, чтобы у него был дом, уют, некоторая обеспеченность. Те, у кого это есть, считают, что они довольны жизнью. Те, у кого этого нет, стремятся именно к этому. Ничего удивительного: рядовому англичанину сизмальства внушаются подобные устремления — в семье, школе, прессой, «общественностью», т. е. по существу самой английской демократией, которая поистине как-то чудом сумела превратить почти все политические проблемы в «своеобразие быта» или «традиции». Что такое в наше время традиционные основы английской демократии? Это те же, непонятно зачем сохраняемые детали «своеобразного»



быта как гиней, каминь, левостороннее движение. Вот поди и разберись, где кончается этот самый быт и где начинается конституция!

Что можно еще сказать про англичан? Англичане — народ деловой, основательный, с большим чувством собственного достоинства. Это — приятная черта, и ее с удовольствием отмечаешь. Пожалуй, ни в одной европейской стране так называемый обслуживающий персонал — кондукторы автобусов, лифтеры, коридорные в гостиницах — не держится с таким достоинством и так независимо, как в Англии. Другая приятная черта — чувство юмора. Англичане, действительно, ценят и понимают шутку. Почти ни одно выступление, даже в самом серьезном собрании, ни одна лекция или доклад на научном конгрессе не обходятся без того, что принято называть «веселым оживлением» в зале. Согласен и с тем, что пресловутая английская чопорность — миф, англичане везде и всюду ведут себя крайне непринужденно; в центральных скверах Лондона часто можно наблюдать такую картину: вполне приличные дамы — иногда далеко уже не первой молодости — сидят, сняв туфли и положив ноги в чулках на скамейку, и это никого не шокирует. Во всех парках, которые, кстати сказать, в Англии очень хороши, сидят и лежат на траве в позах, часто более чем «свободных». В Оксфорде я видел в центре города ярмарку: и молодежь, и взрослые веселились здесь непринужденно и с увлечением.

Кстати, об Оксфорде. До того, как я побывал в этом милом городке, я никак не мог разобраться в структуре английских университетов. Она действительно настолько отличается от нашей и опять-таки настолько своеобразна, что стоит сказать об этом несколько слов.

Что такое Оксфордский университет? Это по существу федерация нескольких десятков университетов или колледжей, как называют их сами англичане. Каждый колледж —

совершенно самостоятельное или, лучше сказать, автономное учебное заведение. В масштабе всего Университета они объединены централизованным руководством Совета Университета, который, насколько я мог понять, выполняет лишь координационные функции, но во внутренние дела колледжей не вмешивается.

В каждом колледже — собственное руководство, собственная профессура, собственный контингент студентов и, наконец, собственные традиции. Каждый колледж — особый комплекс строений: учебные и административные здания, библиотеки, жилые помещения, спортивные площадки, сады. Каждый колледж — и это, на мой взгляд, самое удивительное — в смысле своей структуры повторяет (иногда полностью) все другие, т. е. если на одной стороне улицы находится некий колледж, где существуют юридический, филологический и прочие факультеты, то наискось от него может располагаться другой колледж, но с такими же факультетами, а через несколько улиц — третий, опять с филологическим и юридическим факультетами и т. д.

На вопрос о том, чем объясняется столь странная, громоздкая, и, очевидно, малорентабельная во всех отношениях структура и как она сложилась, ответ один — традиция. Колледжи возникали одновременно (самый старый из них был основан в 1249 г., самый молодой — несколько лет назад!), возникали по разным поводам и причинам (вплоть до пожертвований меценатов), и Университет таким образом рос и «размножался» почкованием.

Ныне в Оксфорде 22 мужских колледжа, 5 женских и 4 еще не конституированных (они не утверждены официально королевой), где в общей сложности обучается 10 тыс. студентов (8 тыс. мужчин и 2 тыс. женщин). Неженатые студенты (опять-таки традиция!) обязаны жить в самом колледже, женатым, наоборот, это запрещено, и они должны селиться



ПАМЯТНИК РИЧАРДУ ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ

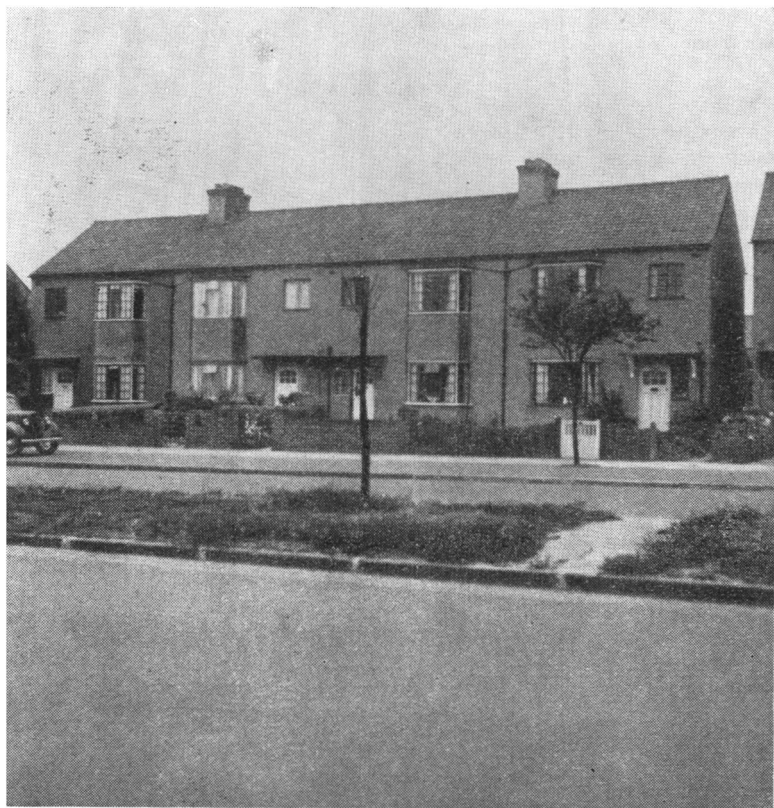
в городе. То же самое правило — может быть, только с меньшим ригоризмом — распространяется и на преподавателей.

Уж где-где, но здесь, в Оксфорде, традиций — хоть отбавляй! Чем они древнее и непонятнее, тем более ими гордятся. Мне, кстати, удалось выяснить происхождение одного странного обычая в колледже Corpus Christi. Здесь принято перед началом обеда стучать несколько секунд ложками по столу. Студенты добросовестно стучат, но зачем это делается, никто не знает. Оказалось, что обычай возник еще в средние века. Объясняют его так: перед обедом, как тогда и полагалось, кто-нибудь из преподавателей читал по-латыни молитву. Так как это обычно поручали молодым преподавателям, они нередко путали и перевирали латинский текст. Оксфордские студенты, которые уже тогда, видимо, были образцовыми английскими джентльменами, дабы не ставить преподавателя в неловкое положение и не давать повода для насмешек над его ошибками в латинском языке, заглушали его голос и чтение молитвы стуком ложек. Конечно, естественнее предположить, что студенты просто бывали голодны, а молитва тянулась долго, и потому стуком ложек они выражали свое нетерпение и желание перейти от слов к делу. Но тогда получается не столь элегантно, а для английских традиций это имеет не последнее значение. Как бы то ни было, обычай сохранился до наших дней: молитв по-латыни никто уже, конечно, не читает, а ложками все-таки стучат.

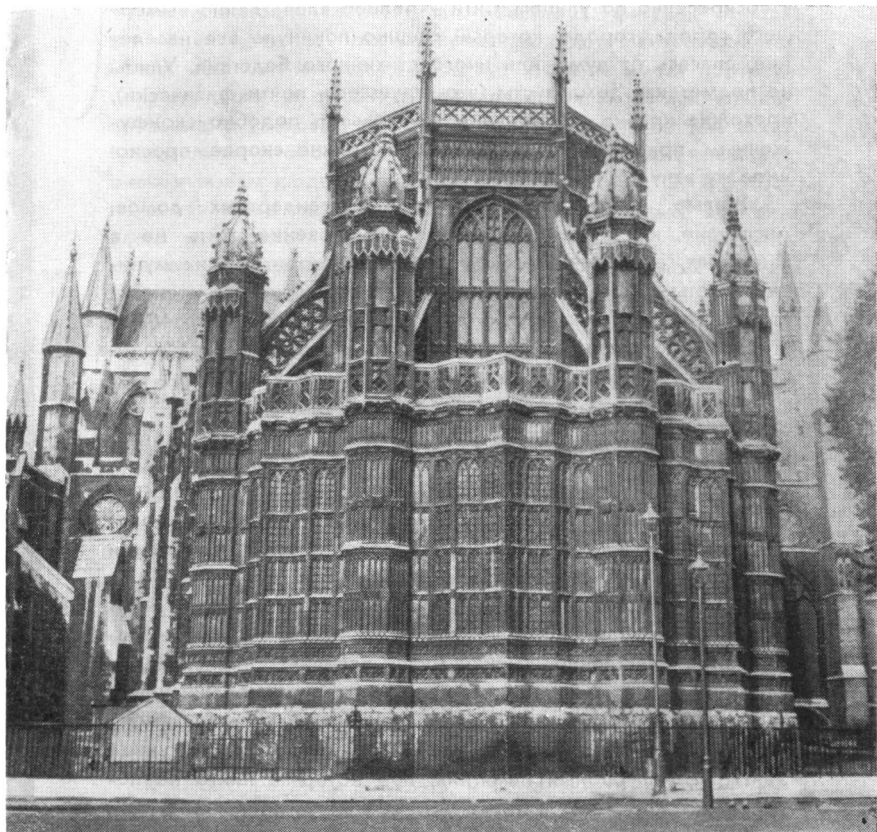
Что же такое, однако, сам Лондон, это железобетонное сердце Англии? Лондон — самое большое и самое скучное в мире скопление домов. В центре города — дома черно-белые; копоть и туман, въевшиеся в камень, придают им такой фантастический, полуобгорелый вид. Но в центре Лондона люди, как правило, не живут. Таким образом, все эти здания — лишь конторы, офисы, банки, магазины. Проойдитесь



ЗДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА (ДЕТАЛЬ)



СТАНДАРТНЫЙ ДОМ (ЛОНДОН)



ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСТВО

в воскресенье по улицам Сити — полное впечатление вымершего города, города, который спешно покинуло все население, спасаясь от чумы или иного стихийного бедствия. Улицы не подметены, дома пусты (это ощущаешь почти физически), прохожие крайне редки, да и те скользят, подобно сконфуженным привидениям, стремясь как можно скорее проскочить эту зачумленную часть города.

Жилые улицы Лондона — улицы стандартных домов. Англичане, как известно, имеют обыкновение жить не в квартирах, а в отдельных домах. Вот и строят им их муниципалитеты целые улицы совершенно одинаковых, стена в стену примыкающих друг к другу домов, а потом заселяют эти дома лондонцами, продавая их, как правило, в рассрочку. Очень тоскливо, однако, выглядят такие улицы.

Официальная, «правительственная» часть Лондона — это треугольник между Темзой, Букингемским дворцом и Трафальгарской площадью. Здесь почти все: и здание Парламента, и Вестминстерское аббатство, и шикарная улица Мэл, которая из-под адмиралтейской арки ведет к дворцу, и параллельная ей Пел-Мэл, улица аристократических клубов, и Уайтхолл, и Даунинг-стрит, где в скромном доме № 10 с 1735 г. и по сей день помещается резиденция премьер-министра Великобритании. Все это выглядит солидно, даже, пожалуй, величественно — некий музей величия Британской империи под открытым небом, но вместе с тем безжизненно и пусто, именно внутренне пусто, как пуст кенотаф — памятник жертвам двух мировых войн, воздвигнутый на улице Уайтхолл, надгробный памятник, под которым никто не похоронен.

И вот еще последнее, быть может, несколько странное, но тем не менее памятное и яркое впечатление от Лондона. Я имею в виду музей мадам Тюссо, музей восковых фигур.



Этот музей отвратителен. Восковая фигура отнюдь не манекен, не то, что, мы привыкли видеть в витринах магазинов, ибо манекен всегда абстракция; он не имеет портретного сходства ни с кем, он выполняет чисто служебное назначение, а восковые фигуры музея мадам Тюссо тем и отвратительны, что они на самом деле похожи на так или иначе знакомых вам людей — по газетным портретам, по кинохронике или даже виденных вами в жизни. Но только все они здесь не живые — не живые и не мертвые, а в каком-то противоестественном, я бы сказал, промежуточном между жизнью и смертью состоянии, вроде анабиоза. Представьте себе ряд комнат, особенно в так называемой портретной галерее, битком набитых этими обряженными, торчком поставленными, до жути знакомыми вам полумертвецами, и вы поймете, какое это может произвести впечатление. Кстати сказать, в музее мадам Тюссо есть еще «комната ужасов», куда надо спускаться, как в подземелье, по узкой винтовой лестнице и за посещение которой берут даже дополнительную плату (музей мадам Тюссо вообще единственный платный музей в Лондоне, и он всегда полон — не то что Национальная галерея или Британский музей). Однако в этой комнате, где очень добросовестно представлены различные средневековые пытки или натуралистически изображено гильотинирование, ничего «ужасного», на мой взгляд, нет, а по настоящему ужасна и отвратительна та верхняя галерея, где вы обречены блуждать среди знакомых вам полумертвецов.

Я ничего не могу поделать, к сожалению, но крайне неприятное воспоминание об этом заведении мадам Тюссо для меня до сих пор неразрывно связано с моими общими впечатлениями от Лондона.

### III

И совсем, конечно, другое дело — Париж. Это совсем другой город. Он — наиболее городской город из всех городов на свете. Нигде так явно не выражена, нигде так не ощущается самая субстанция города, как в Париже. Это, очевидно, многовековая городская культура, ставшая уже обиходом.

Я не знаю, стоит ли пытаться «описать» Париж. И не потому только, что это трудная и неблагодарная задача, но потому, что едва ли в данном случае можно говорить о непосредственности восприятия. Почти все мы так или иначе знаем Париж еще до того, как побывали в нем. А если так, то наши личные впечатления неизбежно опосредствованы, они отягощены всякими — и главным образом литературными — реминисценциями. От них не так просто отделаться, да мы обычно и не стремимся к этому, принимая их за выражение нашей собственной высокой утонченности. Так же, наверное, и со мною. Но как бы то ни было, разве можно устоять перед искушением и не сказать хотя бы несколько слов о Париже?

Итак, Париж. Прежде всего — это город великолепно найденных уличных мизансцен. Бесчисленные кафе, бистро, столики прямо на тротуаре, тенты; все мизансцены — фронтальные, все посетители сидят лицом к улице. Магазины, лавки, в особенности где торгуют овощами или всякими *frutti di mare*, — горы ящиков с капустой, морковью, креветками, омарами, ракушками — тоже прямо на улице. Запахи, краски, шум голосов, веселая толкотня. Жаровни с каштанами на бульварах. Букинисты и продавцы птиц на набережных Сены. Веселая Плас дю Тертр на Монмартре, вся уставленная разноцветными зонтиками кафе и мольбертами художников.



БУКИНИСТЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ СЕНЫ И НОТР-ДАМ

Париж — город ансамблей. По-настоящему величествен ансамбль Лувра. Очаровательна своими пропорциями Вандомская площадь. Незабываемо хороша площадь Согласия, особенно к вечеру, когда над деревьями Тюильрийского сада начинают проступать смутные и нежные цвета невидного за домами заката.

Да, Париж — город ансамблей. Но если бы он — не дай бог! — состоял из одних только ансамблей, он бы не был Парижем. Поэтому и ночная Плас Пигаль, и предместье Сен-Дени или почти сельские улицы окраин, чахоточные бульвары, одноэтажные домики с пыльными газонами за решеткой, подслеповатые лавчонки, заборы, заборы, заборы, торчащая проволока, груды строительного мусора — это тоже Париж.

Это — Париж, и он восхитителен. Он всегда и всюду — живой, трепещущий, постоянно ощутимый. Он в высокой степени обладает качеством, которое присуще лишь немногим городам на свете: к нему быстро привыкаешь и в него легко вживаешься. Когда-то мне пришлось прожить около года в Берлине. После этого я бывал в Берлине еще не раз, знаю его лучше любого другого европейского города. Но я так и не привык к нему, всегда и во всем я ощущаю его как не свой город. Совсем другое дело — Париж. Чуть ли не на третий день у меня уже возникло чувство, что город мне не чужой, что он не только рядом со мною, но и во мне и что я сам в какой-то мере начинаю жить его жизнью и дышать его дыханием.

Но насколько хорош сам город, настолько же неинтересны и даже разочаровывают его «достопримечательности». Лувр как музей, за исключением нескольких шедевров (их без труда можно пересчитать на пальцах!), скучен, хаотичен и, честное слово, хуже нашего Эрмитажа. Версальский парк тесен, мал и запущен. Пантеон с фресками Пюви де Шаванна

или капелла Дома Инвалидов с претенциозной глыбой гробницы Наполеона, по-моему, просто никуда не годятся. Нет, в Париже надо ходить по городу, толкаться в его толпе, а вовсе не осматривать «достопримечательности».

Кстати, об этих самых «достопримечательностях» в более общем смысле. Они, я думаю, повсюду невыносимы. Представьте себе на минуту, что вы без определенной цели и плана, без какого бы то ни было путеводителя бродите по городу, в который вы попали впервые. Что может быть увлекательнее такого занятия! Какие открытия, какие очаровательные неожиданности подстерегают вас почти на каждом шагу. Вот вы набредаете на маленькую улочку (как и было со мною во Флоренции); она совершенно прелестна, и вдруг вы, к своему удивлению, читаете на дощечке, что она называется Виа Алигьери, а вот и дом, где жили его родные и, кажется, он сам, и тут же, совсем неподалеку, маленькая часовня с воздушными фресками неизвестного вам, но изумительного художника. Если на все это вы натолкнулись случайно, неожиданно, в этом всегда есть какая-то радость первооткрытия, это запоминается, оставляет свежий след в памяти и чувствах.

А теперь представьте, что вы должны осмотреть данную «достопримечательность». Это уже совсем другое дело. Во-первых, вас доставляют на место в автокаре, да еще кратчайшим путем, и вы ничего толком не видите. Во-вторых, вам все объясняют: и который год (что вы тут же забываете!), и про гвельфов и гибеллинов (что вам ни к чему!), и наконец, что фрески в часовне принадлежат, оказывается, не кому-нибудь, а самому Гирландайо. Не знаю отчего, но в таких случаях я смотрю на все с какой-то уже тоской, мне в общем уже ничего не интересно. Я думаю иногда, что многое для меня в Италии просто погребло и погребло потому, что входило в «обязательный минимум». Обязательность — вещь

ужасная; она убивает всякую свежесть и непосредственность восприятия.

То же самое и в Париже. Вполне вероятно, что, скажем, Сен-Шапель с ее замечательными витражами или треугольная площадь Дофин запомнились бы мне более ярко, если б меня не возили их осматривать в «обязательном порядке». Как знать, пожалуй, и Версаль, и парк, если побродить в нем одному, не торопясь и не с целью «осмотра», предстал бы в ином свете, оставил совсем иное воспоминание.

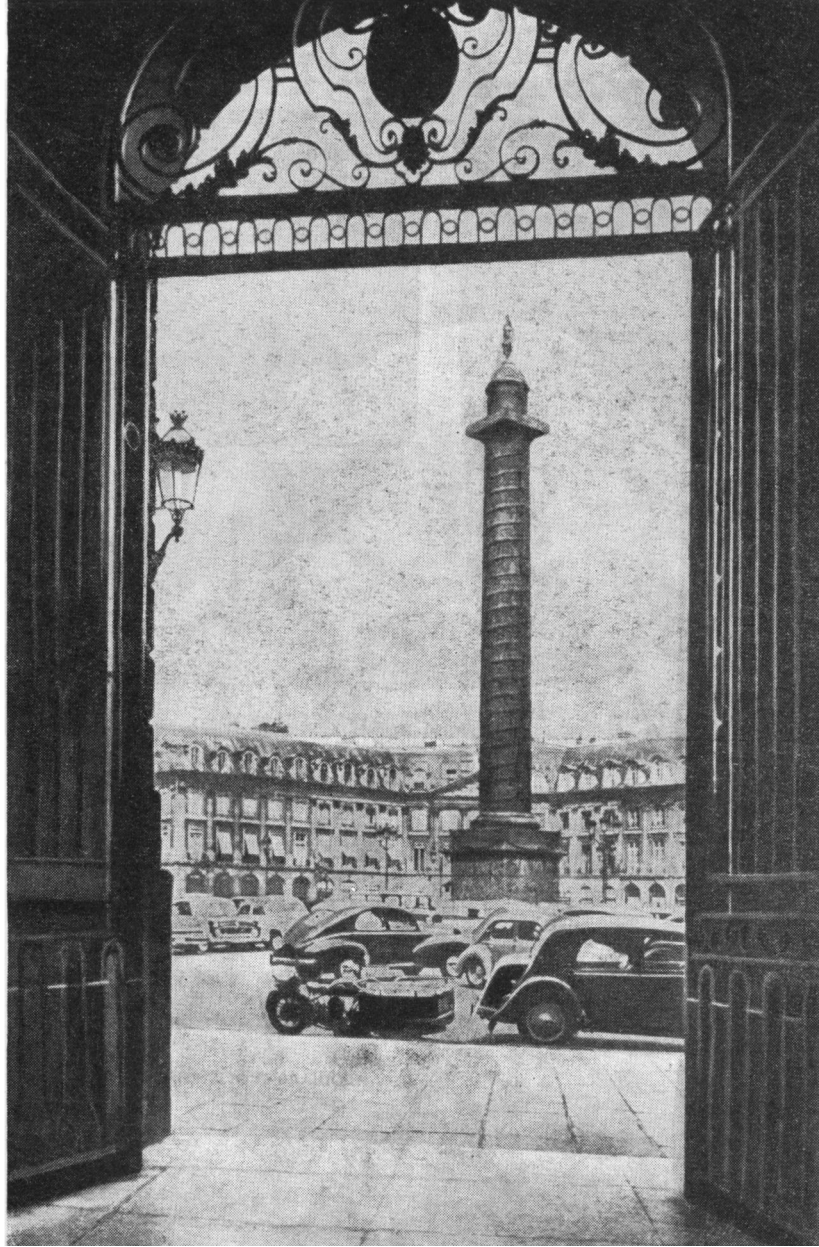
Кроме Парижа, мне довелось еще побывать на юге Франции. От Лазурного берега я в общем не в восторге. По-моему, все курортные места на юге Европы более или менее одинаковы. Они как-то все на одно лицо, они банальны и космополитичны в самом дурном смысле этого слова. Всюду те же виллы, эспланады, отели, яхты. В этом смысле, что Ницца, что Канн, что Сорренто — все едино.

Занятно, конечно, съездить в Монако, опереточное государство, где население, как об этом дружно сообщают все путеводители, не платит налогов (доходы от рулетки), а принц женат на американской кинозвезде. Но, собственно говоря, ни принц, ни его кинозвезда не являются хозяевами Монако, а подлинный хозяин — мультимиллионер грек Оназис, главный держатель акций рулеточного предприятия. Был я, разумеется, и в Казино — шикарное заведение, ничего не скажешь. Вроде наших Сандуновских бань. С лепными украшениями и даже с амурчиками.

Играть я не играл, но, каюсь, смотрел (и не без интереса), как играют. Это, безусловно, производит впечатление. Во-первых, тишина, как в церкви. Слышны лишь бесстрастные, повторяемые через правильные промежутки возгласы крупье,

---

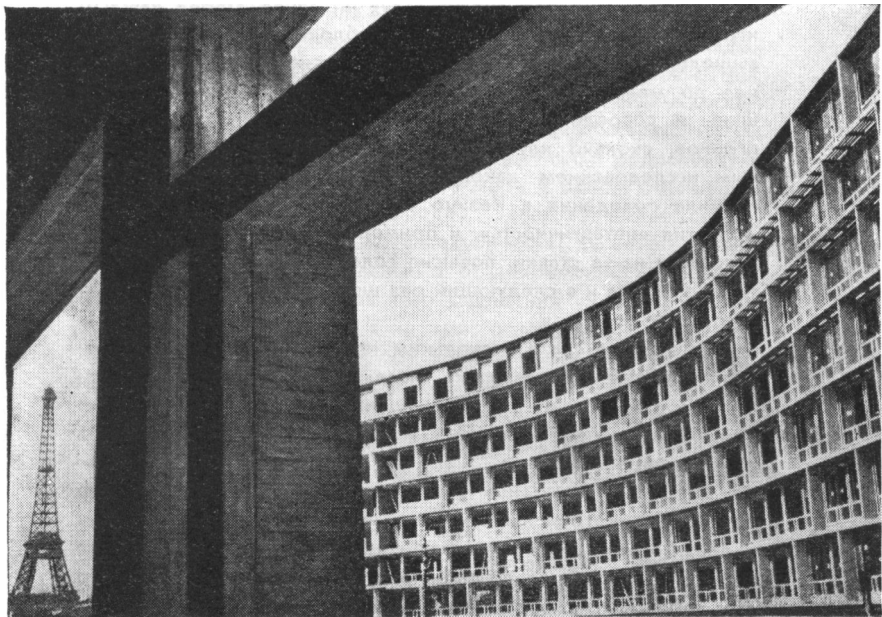
ВАНДОМСКАЯ ПЛОЩАДЬ





ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ НОЧЬЮ





ЗДАНИЕ ЮНЕСКО

больше никто не произносит вслух ни слова. Перед каждым игроком лежит лист бумаги, а то и блокнот, где он отмечает вышедшие номера, у каждого своя «система», разработанная до мельчайших деталей. Среди этой благоговейной тишины и сосредоточенности игроки имеют вид не столько игроков, сколько научных сотрудников, занятых лабораторным исследованием какого-то сложного процесса. Кстати, правила поведения в Казино строгие: если кто из игроков допустил «нетактичность», к примеру поспорил с крупье или соседями из-за ставки, повысил голос,— сразу попросят выйти из-за стола и в следующий раз швейцар даже не пропустит в помещение.

Заглянул в глаза нескольким игрокам — страшно. Совершенно пустые, неподвижные глаза, взгляд не то что безразличный, а как бы от всего отрешенный. Тебя они не видят — они никого и ничего не видят,— зрачок глаза фиксирует лишь одно: вращение шарика.

Я пробыл у игорных столов около часа. При мне никто не сорвал многотысячного куша, никто не проигрался в пух и прах, одним словом, не произошло никаких трагедий. Даже наоборот — все было по-прежнему, более чем пристойно. Но что, собственно говоря, понимать под трагедией? Каких-либо эффектных душераздирающих сцен я действительно не видел, но разве не страшнее то, что я видел в глазах игроков? И разве не страшен скрытый под безукоризненной оболочкой европейской «цивилизации» темный первобытный инстинкт — скорее животный, чем человеческий,— инстинкт игры, охоты, погони, добычи?

Куда, однако, более интересными, чем все эти курортные места, оказались маленькие городки юга Франции — Валорис, Экс (в Провансе), Арль, Авиньон. У каждого из них своя особая физиономия и особый колорит. В Валорисе — часовня XIII в., внутри расписанная Пикассо: знаменитая фреска

«Война и мир». В Арле — прелестная маленькая площадь с памятником Мистралою и остатками римской колоннады. В Авиньоне — папский дворец, парк, где некогда гуляли Петрарка и Лаура, вид на противоположный берег Роны — когда-то лишь на том берегу и начиналась Франция. Во всех этих городах много старины, почти все они ведут свою родословную от римских времен, но по крайней мере в одном отношении они приятнее итальянских городов. Здесь всяческая старина — арены, цирки, термы, акведуки — не выпирает столь отдельно и столь независимо от современности, а главное здесь не испытываешь того ощущения «ненастоящести» настоящего, от которого я не мог освободиться в Италии.

Я был во Франции в пору зрелой осени. Погода стояла великолепная. Поэтому я так хорошо и благодарно помню щедрое солнце Прованса, расплавленное серебро средиземноморского побережья, фиолетовую дымку над мостами Сены, по-летнему душные вечера в ослепительной суете и грохоте парижских бульваров.

Какова же, однако, в настоящее время жизнь во Франции, как живут так называемые «средние», или «рядовые», французы?

Если об этом позволительно судить на основании чисто внешних и мимолетных впечатлений, я бы сказал так: французы живут веселее англичан, но озабоченнее, чем итальянцы. В их жизни заметна какая-то нервозность, какая-то даже неуверенность. Скорее всего это — неуверенность в будущем. Не чувствуется также довольствия своей жизнью и своим положением. Отсюда, как мне кажется, несколько более значительный интерес рядового француза к вопросам политики. Но политическая обстановка в стране сложна и мало-благоприятна для простых людей Франции. Тем не менее или именно благодаря этому здесь как-то сильнее ощущается внутреннее движение, внутренняя жизнь общества и нет той

оцепенелости, что так неприятно поражает в Англии. Конечно, французское «веселье» и английская «скука» скорее лишь различие национальных темпераментов, но ведь и это кое-что значит, когда речь идет не о темпераменте отдельного человека, а целого народа.

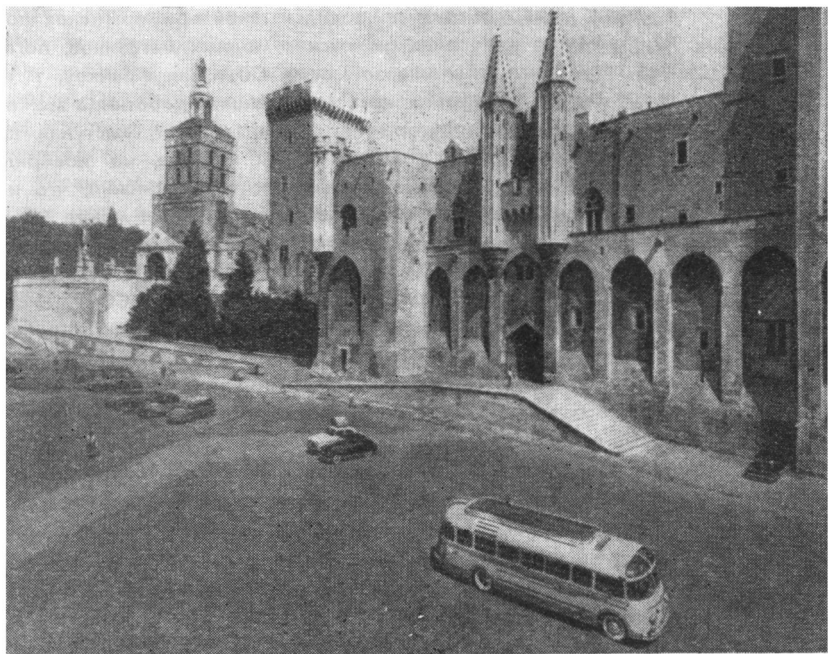
Материальные условия жизни во Франции нелегки. Кто-то из английских консервативных лидеров позволил себе такую фразу: «Если раньше в Англии население делилось на тех, кто имеет и тех, кто не имеет, то теперь англичане делятся на тех, кто имеет, и тех, кто хочет иметь еще больше». Конечно, это только фраза, цену которой хорошо знают и в самой Англии. Но бесспорно и то, что во Франции (или в той же Италии!) ни один политический деятель не рискнул бы произнести подобную фразу.

Как-то на одной из дорог Прованса мы просили нашего шофера остановить автобус. Шел сбор винограда. Нас интересовало, сколько получают в день за свой труд эти крестьяне, т. е., по-нашему, батраки, нанятые владельцем виноградника на сезонную работу по уборке. Оказалось, во-первых, что женщины и мужчины получают неодинаково. Женщины получали 1200 франков \* в день и литр вина (столовое вино во Франции дешевле лимонада!), мужчины — 1600 франков и два литра вина. А через сутки (в Лионе) я поинтересовался ценами на рынке: килограмм мяса стоил 1000—1200 франков, килограмм масла — 900 франков.

Между прочим, несправедливая оплата женского труда или труда молодежи — явление довольно обычное. Во французских газетах я видел такие цифры: 66% женщин-работниц и 34% женщин-служащих получают менее 25 тысяч франков

---

\* Речь идет еще о старых франках. После того как была проведена денежная реформа один новый («тяжелый») франк равняется ста старым.



ПАПСКИЙ ДВОРЕЦ (АВИНЬОН)

в месяц. Наряду с этим приводился такой пример: некая покупательница одного из парижских модных магазинов, погашая свои счета, уплатила за месяц 450 тысяч франков, т. е. такую сумму, заработать которую женщина-работница может лишь в течение полутора лет. Один делегат, выступая на конгрессе молодежи, говорил: я бы никогда не поверил, если б не видал своими глазами расчетной книжки, что на предприятии Альстома за 52 часа работы платят менее 6 тысяч франков только потому, что рабочий «слишком молод».

Когда я был во Франции, мне приходилось довольно часто встречаться с членами общества «Франция — СССР». Удивительно сильна, почти трогательна стихийная тяга к нам, интерес ко всему, что делается в нашей стране. Нигде, по моему, наши космические достижения не произвели такого глубокого впечатления, даже переворота в сознании многих тысяч людей, как во Франции. Не знаю, насколько я прав, но в этом интересе к наиболее прогрессивным явлениям современной жизни мне слышится биение большого сердца французского народа; я и сейчас ощущаю это биение, я верю в неугасшую еще галльскую живость, в еще далеко не исчерпанные духовные и материальные силы нации, верю в ее способность к обновлению.

## IV

А теперь — некоторые общие соображения. Они, кстати сказать, отнюдь не являются результатом только моих личных впечатлений. Я не рискнул бы из этих весьма поверхностных впечатлений — а какой еще след могут оставить кратковременные поездки! — извлекать те или иные обобщающие выводы. Но я историк, а потому прошлое и будущее, исторические судьбы тех стран, с которыми мне довелось познако-

миться, занимают меня сегодня не впервые; личные же впечатления — всего лишь живые иллюстрации, подтверждающие (или, наоборот, опровергающие) то, что было продумано раньше. Так что предлагаемые мною выводы — плод раздумий историка, но раздумий, подкрепленных личными наблюдениями.

Однако следует сразу же оговориться. Пусть читатель в этих моих выводах не ищет всестороннего анализа современного положения европейских стран, ученых экскурсов в область экономики и статистики или хотя бы — что у нас особенно ценят — неуязвимых по своей точности формулировок. Ничего этого здесь нет и быть не может, ибо я не претендую ни на какое исследование, не пишу научной статьи, но лишь хочу — причем, если позволительно так сказать, в самой неприязнительной форме — поделиться с читателем некоторыми своими мыслями и соображениями.

Соображение первое. Мне хотелось бы с самого начала подчеркнуть возросшую роль и значение в классовой структуре европейского общества так называемых «средних слоев». т. е. огромной, многомиллионной толщи (и средостения!) между господствующей верхушкой и низами. Я думаю, что положение, а следовательно, и роль этих слоев еще не всегда оцениваются нами в должной мере, особенно в условиях современного капитализма.

Но что такое «современный капитализм?» В чем его отличие от старого, так сказать, «классического капитализма?» Идеологи этого якобы нового капитализма, его провозвестники и трубадуры довольно много распространяются на эту тему. По их речам и писаниям получается, что в капиталистической системе произошли огромной важности внутренние изменения, изменения принципиальные, что в силу этих изменений нынешний капитализм вовсе и не капитализм, а нечто совсем иное и нечто совсем замечательное. Однако что

именно и как это назвать, пока, насколько мне известно, удачного решения не найдено. То есть были, конечно, всякие идеи и по части названий, вроде «народный капитализм» или «свободное предпринимательство» и т. п., но эти названия как-то не очень прижились и, кажется, не всегда удовлетворяют даже самих авторов.

И все же подобное понятие существует. И не только существует, но всячески поддерживается и «внушается». Может быть, и в самом деле капитализм как строй, как система претерпел какие-то внутренние и принципиальные изменения?

Конечно, это не так. Не так, если речь идет об изменениях по существу. Мы все еще с детских лет хорошо знаем, что волк, в какую бы шкуру он ни рядился,— все волк. Капитализм, какие бы ни прилагать к нему эпитеты — «свободный», «демократический», «народный»,— все тот же капитализм, т. е. исторически самая мощная и самая гибкая система эксплуатации человека человеком.

Но, с другой стороны, было бы смешно и нелепо отрицать определенные изменения в капиталистической системе, скажем, за последние 50 лет. Эта система, как и все на свете, не оставалась неподвижной; она либо совершенствовалась, либо загнивала, но, во всяком случае, как-то изменялась. Однако те изменения, которые характеризуют «современный капитализм»,— отнюдь не изменения по существу, т. е. такие, которые в корне меняли бы самую природу явления, но всего лишь переход к новым формам, методам, тактике.

Тем не менее это очень важно. Одним из таких новых методов или тактических приемов следует считать борьбу, которая ведется ныне за «средние слои», за превращение их в резерв господствующей верхушки. Приемы этой борьбы весьма разнообразны. Наиболее эффективным, хотя, конечно, и не новым, является метод экономический, т. е. своеобразное «подкармливание» — участие в прибылях предприятий,



распределение пакетов акций, самые различные и часто, на первый взгляд, весьма «выгодные» формы кредита. Но я на этом не собираюсь останавливаться. Это — предмет специального изучения. Меня сейчас интересует другое: наряду с перечисленными экономическими методами и в качестве дополнения к ним существуют еще приемы идеологической обработки.

Их тоже немало, но главный из них один — пропаганда идеи личного благополучия. Прямо или косвенно, специально или «ненароком», но эта пропаганда ведется ежедневно и ежечасно: кинокартины, восхваляющие пресловутый «западный образ жизни», печать, реклама, вплоть до самых изощренных или, наоборот, самых примитивных лозунгов, которые с топорной прямолинейностью выражают заветную мечту обывателя — «копить, значить купить» или «кто копит, тот жизнь не торопит» — и которые прямо-таки в устрашающем количестве попадались мне, скажем, на улицах Цюриха (вот, кстати, городок — образец мещанского представления о рае, да еще в немецком издании).

Личное благополучие! Это — альфа и омега, святая святых каждого «среднего» обывателя на Западе. Личное благополучие! Это то, к чему стремится, как к земле обетованной, мещанин, мелкий буржуа, до смерти напуганный двумя мировыми войнами, революционными переворотами и вообще всякими потрясениями основ. Личное благополучие! Вот оно: замкнуться бы на всю жизнь, как моллюск, в семейной скорлупе, в уюте и достатке, «мой дом — моя крепость».

Все это, конечно, тоже не ново, и новое заключается лишь в том, что попутно (правда, это делается в довольно осторожной форме!) внушается мысль о некоей страшной угрозе и дому-раковине, и уюту, и всему безоблачному существованию, единственной угрозе, которая исходит, мол, всем понятно откуда и всем известно от кого. И как

ни удивительно, европейский мещанин до сих пор клюет на эту наживку, хотя каждый прекрасно знает, что она такое, эта наживка,— всего-навсего дохлый червяк.

В результате — крайнее измельчание, дробление, я бы даже сказал, атомизация общественной жизни, отсутствие объединенных и согласованных усилий. Где общенациональное дело? Какова общенациональная идея?

Ничего этого нет, и народ остается разобщенным, и все остается по-старому: большие политические вопросы — дело правительств, профессиональных политиков и дипломатов, экономика — дело предпринимателей, хозяев, а вопросы социального страхования — насущное дело профсоюзной организации.

И вот миллионные массы людей — это и есть так называемые «средние слои» — живут как будто вполне устроенной и благополучной, а по-моему страшной, жизнью. Это — выхолощенная, оглушенная жизнь, где политика заменена газетными сенсациями и светскими сплетнями, литература — низкопробным, машинной выработки чтивом, театр — глупейшими ревью с обязательным стриптизом (а в Париже, на Плас Пигаль, преимущественно стриптизами в чистом виде, без всякого «принудительного ассортимента») и где за последнее время даже кинематограф — хорошо бы совсем не выползать из раковины! — все больше и больше вытесняется телевизором.

Но, может быть, ничего особенно страшного в этом нет? Может быть, и не следует, не должно требовать от народа — как, впрочем, и от каждого человека в отдельности — стремления к какой-то особой, необычайной судьбе, к «высокой» идее, тем более что борьба за осуществление подобных идей нередко чревата всякими лишениями в настоящем во имя не столь уже близкого и не всегда ясного будущего? Не согласны ли, на самом деле, миллионы и миллионы простых лю-

дей на земле довольствоваться более скромной участью — уютом, достатком, тихой жизнью?

Нет, этого не может, не должно быть! Общая воля — и тому неоднократно подтверждением служит история — далеко не всегда совпадает с повседневными нуждами и стремлениями отдельных людей, но только в общей воле и совместных усилиях, в том едином дыхании, которое обретает народ, когда он одушевлен общенациональной идеей, — залог прогресса и исторического развития. Вот почему всеми своими помыслами и чувствами, всеми силами души я против веками накопленной мудрости человека-одиночки: «Живи для себя, живи незаметно».

И еще одно соображение. Мне думается, что есть основания говорить об ответственности интеллигенции за идеологическое разращение «средних слоев». Дело, конечно, не в том, что интеллигенция принимает участие во всей этой гнусной пропагандистской кампании — скорее, наоборот, нередко борется против нее, — но беда и одновременно вина западноевропейской интеллигенции в другом — в утере повседневных связей со своим народом.

Однако здесь следует оговориться. Я далек от огульного обвинения всей интеллигенции. Это было бы недопустимым извращением действительности.

Западноевропейская интеллигенция — явление сложное и неоднородное. Она неоднородна по своему социальному происхождению, по своей политической принадлежности и даже в смысле своей «специализации». Есть слои, которые следует отнести к интеллигенции буржуазной в прямом значении слова, и есть интеллигенция, вышедшая из народа, есть круги интеллигенции, революционно или, во всяком случае, прогрессивно настроенные, и есть форменные мракобесы. Все это, конечно, вещи разные. Но, как ни удивительно, не менее разнится между собой по своим интересам

и умонастроению интеллигенция бюрократическая, техническая и гуманитарная.

То, о чем будет сказано дальше, относится к интеллигенции буржуазной, а если иметь в виду специализацию, то главным образом к «гуманитарной» интеллигенции. (Кстати, я отнюдь не настаиваю на термине и даже не считаю его удачным, но не знаю, как можно еще определить более точно те круги — впрочем, достаточно широкие! — западноевропейской интеллигенции, с которыми мне больше всего приходилось сталкиваться.)

Именно эти круги я и имею в виду, говоря об определенном отрыве от народа. Их судьба трагична. В современном обществе они занимают межеумочное положение: и к правящим классам не пристали, и от народа отошли не живя его нуждами и интересами. Они пребывают в состоянии некоей общественной изоляции.

Это очень опасное состояние. Это состояние пассажиров поезда, ошибочно направленного стрелкой не на тот путь, на путь, ведущий в тупик. Пассажиры рассчитывали на приятное путешествие. Но вот что-то неуловимо изменилось. Возникает тревога, сначала неясная, постепенно она растет и оформляется. В какой-то момент все становится известным. Большинство мужчин, как им и полагается, ведут себя в общем молодцами. Женщинам и детям ничего не говорят. Положение все равно безнадежное.

Но с этого момента у каждого пассажира (если он знает, в чем дело!) начинается то, что, за неимением лучшего термина, мы называем процессом распада сознания. У каждого это происходит по-своему, но вместе с тем есть и нечто общее. Главным образом всем хочется напоследок сделать что-нибудь эдакое совсем невероятное, чего еще никто и никогда не делал, хочется, как сказал мне один французский режиссер, «вывернуть ноги из живота». И делают, и стараются,

и выворачивают, и тем, кто поглощен этим занятием, очевидно, представляется, что они таким образом выражают нечто, едва ли и выразимое, нечто, исторгнутое из таких глубин духа, которые никем еще и не изведаны. Но на взгляд стороннего человека, обладающего нормальной психикой и не находящегося в поезде, который бешено мчится в тупик, эти откровения выглядят более чем странно: как сон, как лепет ребенка, как бред параноика.

В литературе современного Запада — неоднократные и устрашающие примеры такого распада сознания, какой-то даже, я бы сказал, подпочвенной патологии: Уильям Берроуз, Самюэль Бекетт, Жан Ко, Клод Симон и многие другие. Утверждают, что все они в полном вооружении, как Афина из головы Зевса, вышли из нашего Федора Михайловича Достоевского. Не знаю, так ли это, во всяком случае они постоянно размахивают им, как своим знаменем. Мне же после знакомства с творчеством этих писателей, и в особенности после одного длительного разговора с уже упомянутым французским режиссером, пришла в голову несколько странная и даже крамольная мысль — а что, собственно говоря, понял и что взял Запад от Достоевского?

— Как что? — вскричат и ополчатся на меня все западные почитатели Достоевского, — и это еще спрашиваете вы, русский человек! Да прежде всего представление о самой России, о загадочной русской душе! Кто еще, как не Достоевский, впервые раскрыл перед пораженным миром неисчерпаемые богатства русской души, всю ее безграничную ширь, все ее взлеты и падения, кто сделал ее поистине всесветным достоянием и предметом всеобщего восторженного удивления?

Ну, что ж, может быть, и так, но во всем этом есть по крайней мере одно роковое недоразумение. Загадочная русская душа, *l'âme russe énigmatique* Достоевского, на

поверку — вовсе не русская душа. То есть, вернее, это русская душа лишь в представлении иностранца — кого-нибудь вроде Шпенглера, который еще сравнительно недавно и всерьез писал, что в России, в засыпанных снегом кабаках сидят бледные молодые люди, пьют русскую водку и бьют себя в грудь, и самоанализируются, и со слезами на глазах спорят о боге.

Уж если говорить о пресловутой «русской душе» или о национальных особенностях творчества и мироощущения Достоевского, следует в первую очередь говорить о том, что всегда было его главной жизненной (и творческой!) задачей, что составляет самую суть его мироощущения, т. е. о проблеме личности и ее взаимоотношений с обществом. Следует говорить о его неприятии, более того — о его ужасе перед «крайним индивидуализмом», о его «коллективистичности», стихийной тяге к обществу. Это — подлинно национальные черты, свойственные каждому русскому человеку и в высокой степени самому Достоевскому. И именно это необходимо в нем понять.

Что такое «крайний индивидуализм», его наиболее полное выражение? Выход за пределы, нарушение всех норм — как человеческих, так и «божеских», — т. е. в прямом значении слова преступление. Но если так, то понятно, почему подобная проблема — преступление как переход за дозволенные человеку границы — всегда влекла к себе Достоевского, была для него основной жизненной и философской задачей.

Конечно, проблема преступления ставилась — и неоднократно — в мировой литературе. Но каково ее решение? Не говоря уже о почти современном нам герое драйзеровского романа, для которого в сущности вся сложность «проблемы» сводится к одному: как бы концы в воду! — но и в «лучшем» случае, к примеру в случае с Растиньяком, проблема пре-

ступления решается всего лишь как сугубо личный вопрос, как дело индивидуальной человеческой совести. И это не случайно. Растиньяк и иже с ним — типичные герои того общества, той эпохи, которую Карлейль назвал «эрой личного суждения» и в которую Европа вступила, по его мнению, со времени Реформации.

Совсем иначе выглядит концепция преступления у Достоевского. Во-первых, для Достоевского нет преступления без наказания, ибо наказание не вне преступления, а в нем самом. Оно — уже в самом отрыве, в выходе за крайние пределы, в преступлении границ, чего «русская душа» — личность, герой Достоевского — вынести не может. Не может именно потому, что это — отнюдь не дело только личной совести или личной ответственности, но всечеловеческий непреложный закон, общий закон бытия. Проблема преступления для Достоевского в сущности онтологическая проблема.

Раскольникову никто не уличил, он сам изнемог наедине со своим преступлением. Иван Карамазов надломился от одной только «принципиальной возможности», от одной духовной готовности (и зрелости) к преступлению. Смердяков повесился. Рогожин, зарезав Настасью Филипповну, не смог остаться один, он ждал Мышкина и звал его. Смысл тот, что «русской душе», русскому человеку выход «в индивидуализм» заказан, он не может вне коллектива, вне общения в себе подобными. «Ну, как же, как же без человека-то прожить!» — восклицает Соня, когда убеждает Раскольникова вынести его страшную тайну «на люди», вернуться к людям из его непосильного одиночества. В этом, и только в этом, для нее, для Раскольникова — а также для самого Достоевского — единственный выход, единственная возможность искупления. В этом же — и весь пафос решения главной жизненной и философской задачи Достоевского.

Еще в древности было сказано, что человек вне общества — либо зверь, либо бог. Мыслители и деятели «эры личного суждения» (ярче, но и вульгарнее всех — Ницше) пытались решить эту дилемму в определенном направлении и создали понятие «сверхчеловека», однако для русского общества — и это с потрясающей силой выразил Достоевский — такое решение всегда было органически неприемлемым, ему всегда были одинаково чужды понятия как «над», так и «недочеловека», но только — «человека среди человеков».

Итак, что же взял и унаследовал Запад от Достоевского? Кое-что все же унаследовал. Самое главное осталось, на мой взгляд, непонятым, а ухватились за его упорное, иногда даже болезненное стремление проникнуть в тайные тайники, в подполье человеческого сознания. Как и следовало ожидать, дело не обошлось без Фрейда; недаром кушетка психоаналитика — по выражению одного наблюдательного журналиста — стала излюбленной трибуной драматического героя. Но тут уж пошла такая патология и такая пошлость, что дальше некуда. Начиная с Цвейга, который в свое время довольно умело аранжировал Достоевского для европейских дам средней интеллигентности, и вплоть до нынешних ловкачей, ухитряющихся растянуть на пять актов эпилептический припадок Мышкина, все это, может быть, и выглядит снаружи как продление и даже развитие «унаследованных традиций», но по существу — прямое предательство. Здесь тоже остается непонятым главное: упорное и страстное стремление Достоевского проникнуть в самые темные закоулки души человеческой, стремление перетряхнуть и вытащить на свет божий все, что там таится, — не самоцель, не жестокая и беспредметная игра, но результат поистине великой его любви и великой жалости к человеку. Кстати говоря, конфликт несоответствия между Достоевским и его «продолжателями» на



Западе как раз и состоит в том, что они, эти «продолжатели», набив себе руку на модном деле анатомирования человеческих душ, к самому «объекту исследования» — к человеку — относятся либо с явным безразличием, либо с презрением. Но если так, то все, чем они занимаются, — кощунство и надругательство, и этого нельзя ни понять, ни, тем более, простить.

Отнюдь не в меньшей степени — скорее, наоборот, — такими же кризисными явлениями характеризуется и современное изобразительное искусство. Вот, скажем, живопись. Я думаю, что ни в какой другой области творческой деятельности расчлененность сознания не декларируется ныне столь прямо и откровенно, как в живописи. И не просто декларируется, но возводится в принцип. В самом деле, путь от Кандинского до «живописи действия» — одного из последних слов абстракционизма — разве это не крестный путь на Голгофу духовного обнищания? Разве это не «восторг самоуничтожения» или — что, пожалуй, еще отвратительнее — сознательно организованный самообман? Но не будем говорить о нынешних абстракционистах, «живописцах действия» — имя им легион; в значительной части это ловкачи, дельцы и спекуляторы, даже не столько от искусства, сколько от моды и коммерческого спроса. Но если иметь в виду последние крупные явления и тех мастеров, которые еще с предельной честностью стремились выразить себя и свое мироощущение, что нас ожидает здесь? Что это за видение мира?

Вот «мир Пауля Клее», про которого в Америке даже написана симфония, именно под таким названием. Это мир «магических» цветных квадратиков, геометрических узоров на морозном стекле, иногда — и здесь чуть ли уже не выход в «сюжетность» — мир человечка с руками и ногами, как палки, и домика с трубой — так рисовал каждый из нас в шестилетнем возрасте. Дело не в нарочитости — во всяком случае,

если речь идет о Пауле Клее, дело в другом: это мучительно распавшийся мир, мир, разъятый беспощадным в своей последовательности, но и беспомощным видением художника. Это доведенный до каких-то самых крайних, самых пограничных для человеческого сознания пределов анализ, разложение мира на простейшие, уже не делимые элементы. Но ведь анализ всегда «отрицателен», а следовательно, бессилён; он способен в лучшем случае дать исходный строительный материал, но никогда не даст самого здания. Вот почему художник не имеет права на этом останавливаться. Разве в этом его дело перед людьми и перед самим собою? Разве не подрывается таким образом в самой своей основе понятие творчества? Необходима дальнейшая работа — работа по группированию, соединению, сочетанию найденных элементов, т. е. восстановление мира и возвращение в него, возвращение к жизни, со всеми ее красками, образами и даже «сюжетностью».

Но именно в неумении и невозможности вернуться к жизни состоит трагедия современного искусства. Она закономерна. И потому столь же закономерны — у нас не хотят и даже как-то боятся это признать — такие, казалось бы, нелепые и уродливые явления, как «конкретная музыка», «живопись действия» и т. п. В этом смысле произведения абстрактного искусства имеют свою логику и — более того — хорошо вписываются в окружающую их «действительность». Когда в Париже я стоял перед ультрасовременным зданием Юнеско и созерцал одну из скульптурных групп, которая, как мне объяснили, должна была изображать отдых Человека (причем Человека вообще, Человека с большой буквой!), я, хоть и видел перед собою нечто похожее на огромный, неправильной формы бублик с дыркой посередине, был, однако, внутренне согласен, что это как раз и есть то самое, что требуется в данном случае, ибо понимал: перед таким

зданием ни Венеры Милосской ни Микеланджелова Давида не поставишь!

И, наконец, несколько слов о кризисных явлениях в области науки. Я не берусь судить о состоянии точных наук, тем более техники, где, может быть, дело обстоит иначе, не рискну говорить и о новейших философских течениях — для этого я слишком поверхностно знаком с ними,— но о состоянии исторической науки имею вполне определенное мнение. Конечно, в данном случае явления распада сознания не выступают, да и едва ли могут выступить в столь неприкрытой форме — этого не допускает самая фактура материала. Тем не менее и здесь налицо определенные признаки кризиса.

Мне приходилось принимать участие в международных конгрессах, иногда очень широкого, по существу всемирного масштаба (к примеру, III Международный конгресс классических исследований в Лондоне). Ни полемики, ни дискуссий принципиального характера. Доклады — чисто информационные или на крайне узкие темы. Нередко — и это особенно любят — отчеты о новейших раскопках, причем без каких-либо исторических обобщений. Если на подобный конгресс даже и пробьет себе дорогу доклад с явно выраженными методологическими установками (а такие случаи бывают — скажем, выступления марксистских историков), то остальные участники конгресса — пусть они в корне не согласны с этими установками — все равно вежливо промолчат, не станут заговаривать дискуссии.

Все это довольно типично. Но подобное отношение и манера держать себя вовсе не объясняются «европейской вежливостью», или, наоборот, «равнодушием», как то склонны были считать некоторые из моих коллег, участники этих конгрессов. Причина, на мой взгляд, более глубока. Утеряны общие критерии, почти утерян общий язык, и это

объясняется в первую очередь тем, что многие западно-европейские исследователи все более и более открыто переходят на позиции своеобразного исторического агностицизма.

Пожалуй, наиболее ярко, может быть даже несколько парадоксально, подобную точку зрения выразил в разговоре со мною один известный историк — я не буду называть его имени, разговор был неофициальный — во время уже упоминавшегося конгресса в Лондоне. Кратко излагаю суть его воззрений:

— Не говорите мне ничего об исторических закономерностях. Мы их не знаем, они для нас не существуют, поскольку не существует самого исторического факта. Исторический факт как таковой — фикция. Вернее, он непознаваем. Наивно претендовать на знание того, что происходило сто, триста, тысячу лет назад, когда мы не знаем, во всяком случае не способны, всесторонне объять событий недавнего прошлого или даже событий, происходивших на наших глазах. Историк никогда не имеет дела с самими историческими фактами, но лишь с их искаженным отражением в источниках. Никакой источник и никакая сумма источников не способны восстановить исторический факт во всем его многообразии, а тем более во всей его «девственной чистоте». Поэтому предельно наивен был Ранке, когда он ставил перед историком задачу выяснить, «как это было на самом деле». Подобная задача вообще неосуществима, ибо историк повторяю, никогда не касается самого факта, но в лучшем случае может оперировать источником.

— Какова же в таком случае природа тех фактов, которые так или иначе фигурируют в историческом исследовании? В какой степени мы можем вообще считать их фактами?

— Не ясно ли, что природа их совершенно иная — это лишь факты нашего сознания, точнее говоря, конструкции

сознания, которые отличаются от имевших место событий, от того, «как это было на самом деле», не в меньшей степени, чем любой банковский билет отличается от полновесной золотой монеты. Но вместе с тем нам прекрасно известно, что бумажные деньги давно и с успехом заменяют драгоценный металл и по общему молчаливому соглашению это давно воспринимается как нечто должное и само собой разумеющееся. Более того, мы фактически всегда имеем дело только с этими сугубо условными денежными знаками. Точно в таком же положении находится и любой историк.

— Следовательно, задача формулируется так: отнюдь не стремясь к тому, чтобы восстановить историческую «истину», исторические «факты», поскольку это все равно невысказано, историк должен на высоком, современном уровне исследовательской техники препарировать источник с целью дать наиболее остроумное его толкование. На большее мы не должны и не имеем права рассчитывать.

Не знаю, есть ли смысл и необходимость всерьез полемизировать с подобными высказываниями, тем более что они отнюдь не новы и имеют своим «источником» некоторые ныне полузабытые «откровения» неокантианцев и риккертанцев. Я не пытался переубедить своего собеседника, понимая всю безнадежность такого предприятия, но сказал ему лишь одно: как может любой уважающий себя историк отстаивать изложенную точку зрения, ведь в этом случае история — никакая не наука, даже не искусство, как считалось когда-то в древности, а так только — игра, более бессмысленная и ненужная, чем, скажем, гольф. Признаться, я опасался, что мой собеседник обидится, так как я говорил довольно резко, без обиняков, но, к моему крайнему удивлению, он быстро и даже с какой-то готовностью согласился со мною. Он отвечал, что да, действительно, игра ума, и ни-

чего больше! Это ли не пример крайнего нигилизма, кстати сказать, одной из своеобразных, но бытующих форм все того же самого «распада сознания».

Но, пожалуй, хватит об этом. Я уже достаточно говорил о различных проявлениях кризиса в сфере интеллектуальной жизни Запада, а следовательно, и о кризисе западноевропейской интеллигенции. Думаю, что приведенными примерами можно ограничиться.

Но остается еще один вопрос: каково значение этого кризиса?

Ответ на подобный вопрос, по-моему, предельно ясен. Значение современного кризиса интеллигенции в том, что, по существу решается судьба самой интеллигенции. В отличие от дореволюционной России, где интеллигенция никогда не входила в состав правящих кругов и правительственного аппарата, в странах Западной Европы, прежде всего во Франции, дело обстоит иначе. Поэтому сейчас на Западе от интеллигенции больше, чем когда-либо, зависят судьбы демократии. Это вопрос большого исторического значения. Интеллигенция стоит перед последней альтернативой: либо коренной, решительный поворот к народу, либо сохранение изоляции, и, как конечный результат — окончательная «утра лица», растворение в мещанской, мелкобуржуазной стихии.

Таковы, на мой взгляд, некоторые характерные явления и процессы в общественной жизни современной Европы. Они, безусловно, не исчерпывают всего многообразия этой жизни, но, тем не менее, придают ей вполне определенное направление и окраску. Без учета этих процессов нельзя, по-моему, правильно расценить перспективы дальнейшего развития.

Вот почему, даже с риском заслужить упрек в том, что нарисованная мною картина слишком мрачна, я считал нуж-

ным привлечь внимание к некоторым опасным симптомам, к внутренним слабостям и порокам, наличие которых может помешать развитию прогрессивных начал или даже стать для них прямой угрозой. По моему разумению, именно в этом — а отнюдь не в стандартных восторгах и не в дежурном умилении — единственный смысл и та скромная польза, которую могут принести выводы и соображения объективного, искреннего и неравнодушного наблюдателя.

И, наконец, последнее. Очевидно, уже давно подошло время — я как-то не сумел выбрать его раньше — возразить по существу моему итальянскому другу и собеседнику, который, как было сказано, утверждал, что история европейских стран «кончилась».

С этим, конечно, никоим образом нельзя согласиться. Во-первых, мой собеседник много говорил о «величии» европейских держав. Но что он подразумевал под этим словом? Боюсь, что в его понимании величие оказывается равнозначным великодержавности, хотя это совершенно различные и, строго говоря, даже враждебные понятия. Во всяком случае, истинное величие страны и народа не может, не должно «реализоваться» его великодержавной, а следовательно, агрессивной политикой.

Во-вторых, и — это, конечно, главное, — как может кончиться история страны, если жив ее народ? Кто может это утверждать? Ибо история любой страны и величие любой страны — в ее народе.

Люди живут и умирают, поколения вытесняют друг друга, народ остается. Сменяются эпохи, земля и песок покрывают опустевшие города, гибнут цивилизации, море поглощает берега, но в животворной памяти людской сохраняются какие-то непреходящие ценности, и иной раз в ничтожном глиняном черепке или в одной строке неизвестного поэта для нас оживает душа целого народа.

Народ бессмертен. Вот почему, когда я думаю о прошлом и будущем европейских стран, я твердо знаю, я уверен, что их история не «кончилась», что дальнейший путь, путь исторического прогресса по существу уже определен и найден. Но еще более твердо я уверен в том, что при избрании этого пути решающее слово окажется за теми, кто творит подлинную историю, кто создает подлинные и непреходящие ценности,— за самими народами.

1960 г.





АКРОПОЛИ  
ЭЛЛАДЫ



# I

**В**ид с афинского Акрополя — не просто великолепный вид на город. «Классической» считается панорама Рима, открывающаяся с Монте Пинчо, хорош Париж с высот Монмартра, не менее прославлены виды Неаполитанского залива и Золотого Рога, но все это, говоря по правде, не может идти ни в какое сравнение с тем, что испытываешь, глядя на Афины с Акрополя. И вот я — бывают же такие чудеса в жизни! — стою на его вершине, я — в Греции.

Но что мы знаем о Греции? Я думаю, очень мало. Не говоря уже о прошлых годах, и сейчас, когда у нас так развит международный туризм, в Грецию ездят сравнительно редко. Что же нам все-таки известно о Греции?

Известно, что это небольшая и в общем бедная страна, что она в значительной мере в руках американского (а в последнее время и западногерманского) капитала, что рабочий класс Греции немногочислен, что в стране реакционный режим и в правительстве сильны антисоветские тенденции.

К этому, пожалуй, можно было бы добавить ряд сведений общего характера о населении, экономике, политических партиях Греции. Но оставим сведения подобного рода для справочных изданий, где их вовсе не трудно отыскать. Интереснее другое, а именно то, что может быть названо некоторыми особенностями современной Греции, и прежде всего та «особенность», что Греция принадлежит к числу немногих еще сохранившихся в Европе монархий. После войны, в 1946 г., в стране была восстановлена королевская

власть, а недавно она была «закреплена» своеобразным актом: торжественным обручением, а затем и бракосочетанием греческой принцессы Софии с лейтенантом франкистской армии доном Хуаном Карлосом, претендентом на испанский престол. На церемонию помолвки съехались представители 39 уцелевших (или бывших) королевских фамилий. Греческий парламент принял чрезвычайный закон, по которому каждый греческий гражданин был обязан отработать один день на приданое невесте. Все газеты на протяжении многих дней посвящали свои первые полосы этим волнующим событиям. Что и говорить, подобные спектакли происходят в наше время не столь уж часто, а союз между греческим королевским домом и франкистской Испанией, видимо, представляется весьма обнадеживающим альянсом не только для последних могикиан отживших и отживающих династий.

Еще один характерный факт. На «конференции народов НАТО», проходившей в Париже\*, этот агрессивный союз объявил себя прямым наследником «красоты классической Греции, политической мудрости античного мира и духовного богатства Возрождения». Кроме того, в одном из пунктов принятой ширококвещательной декларации предлагается «превратить древний Акрополь в Афинах в символ и священное место нашего союза». И вот уже НАТО заседает в Афинах, а над стеной Акрополя, откуда некогда рукою Манолиса Глезоса был вышвырнут флаг со свастикой, хотят водрузить черное знамя агрессоров.

Таковы некоторые дела и дни современной Греции. Картина, честно говоря, малоутешительная. Но это Греция нынешняя, а мы ведь хорошо знаем, что истинная и немеркнущая слава Греции в ее прошлом. Что же есть в нем, в этом прошлом?

---

\* Зимой 1962 г.

В нем — мифология и поэмы Гомера, законодательство Ликурга и Саламинская битва, Перикл и афинская демократия, Софокл и Гермес Праксителя, Демокрит и Платон и еще многое другое, что признается обычно основами современной европейской цивилизации. Все это известно, вернее, должно быть известно каждому со школьной скамьи. Но многие ли знают и помнят об этом на самом деле? И если помнят, то какое значение имеют ныне все эти имена и события? Что они для нас — живой источник знаний, опыт и мудрость человечества, озаряющие не только прошлое, но и настоящее, или никому уже не нужный, окаменелый хлам истории, непонятно как и для чего сохраняемые остатки давно ликвидированного «классического образования»?

Мне не хотелось бы отвечать на подобный вопрос одной-двумя фразами, пусть ответом послужит все, о чем будет сказано ниже, но я не сомневаюсь, что в наше время мало кого волнует судьба так называемых «основ европейской цивилизации». Пожалуй, наиболее непосредственно выразил свое отношение к проблемам подобного рода бармен теплохода «Феликс Дзержинский», который, выяснив из разговора со мною, что я направляюсь в Грецию (теплоход шел дальше, в Каир, Латакию, Бейрут, так что Пирей был всего лишь одним из транзитных портов), с удивлением спросил: «В Грецию? А что там интересного? Одни развалины, да и те, говорят, почти все теперь вывезены в Америку!»

Однако мы, историки,— хотя бы в силу своей профессии — помним и знаем о древней Греции немного больше и находим в ее «развалинах» не только кое-что «интересное», но иной раз и нечто весьма поучительное. Даже для настоящего времени.

Очевидно, далеко не всем известно, что именно в области греческой истории за последние сто лет сделан ряд выдающихся открытий. Эти открытия в полном смысле слова

перевернули многие устоявшиеся представления и «продлили» историю Греции в глубь веков. Более того, выйдя за пределы собственно греческой истории, они тем самым дали нам возможность ощутить дыхание мировых процессов, коснуться живой исторической ткани, облекающей глубинные закономерности развития.

Еще в середине прошлого столетия историю Греции начинали изучать либо с эпохи так называемой «великой колонизации» (VIII в. до н. э.), либо с греческой мифологии, относя к ней и то, что было известно из Гомера о Троянской войне. Но когда в 70-х годах XIX в. сумасбродный миллионер и археолог-дилетант Генрих Шлиман раскопал (с грубыми ошибками!) на территории турецкой деревушки Гиссарлык считавшуюся до тех пор легендарной Трои, впервые встал вопрос о реальности и историчности событий, воспетых Гомером, и греческая история впервые «отодвинулась» вглубь, примерно к XII в. до н. э. Раскопки того же Шлимана в материковой Греции (Микены, Тиринф) уже могли зародить первое, и пока еще смутное, представление о существовании великой цивилизации, которая предшествовала «классической» эллинской и создание которой сами древние — на основании некоторых ее непогребенных в земле памятников — приписывали полубогам и героям.

На рубеже XX в. начались раскопки английского археолога Эванса на Крите. Потрясающие результаты этих открытий еще и сейчас не могут оставить равнодушным ни одного наблюдателя. Грандиозный Кносский дворец с его тронными залами, лабиринтом коридоров, ванными комнатами, с его изысканными фресками и керамикой предстал пред изумленным взором археологов и историков как памятник древнейшей и вместе с тем высокоразвитой цивилизации. И, наконец, архив Кносского дворца — сотни глиняных таблечек, покрытых письменами. Существование в Эгейском бассейне

древнейшей письменности! Существование письменности до «гомеровской эпохи», которая — это ни у кого и никогда не вызывало сомнений — была бесписьменной!

Раскопки на Крите свидетельствовали о связи двух новооткрытых культур, они привели к образованию понятия крито-микенской культуры (или цивилизации), они снова «отодвинули» греческую историю в глубь веков, к середине II тысячелетия до н. э. Возникал могущественный образ древнейшей Эгеиды. Многие еще в нем были туманным и зыбким, многие очертания неясны, но уже бесспорными казались выводы о высоком уровне техники и культуры, о развитии общественном строе. Но наиболее волнующей оставалась загадка новооткрытой письменности.

Потому самым блестящим достижением последних лет можно считать дешифровку этой так называемой минойской (по имени легендарного владыки Крита — Миноса) письменности. История дешифровки заслуживает быть рассказанной, хотя бы вкратце.

Еще сам Эванс, который ревниво оберегал найденные им письменные памятники и долгое время противился их опубликованию, предпринял первые попытки дешифровки. Его усилия были продолжены шведом Перссоном, а затем американкой Кобер. И хотя на этих начальных стадиях исследования загадка минойской письменности была далека от своего решения, удалось достичь некоторых позитивных выводов, которые оказались правильными. Была набросана в общих чертах картина эволюции минойской письменности: из письменности пиктографической (рисунчатой), существовавшей на Крите примерно в 2000—1700 гг. до н. э., возникает линейное письмо, условно названное линейным письмом А. Затем на базе этого письма, как было доказано тщательным изучением эпиграфического материала, развивается новая система письменности, отличающаяся от письма А хотя бы

тем, что она оказалась более упрощенной и облегченной. Эта вторая система получила условное название линейного письма В.

Однако эти бесспорные достижения мало чем могли помочь при чтении самих памятников минойской письменности. Оставался ряд вопросов, ответ на которые имел решающее значение для успеха дешифровки. Каков язык (или языки) существующих надписей? Возможно ли путем сравнительного лингвистического анализа сопоставление языка надписей с каким-либо из древних языков, уже известных науке? Какова связь и соотношение систем линейной письменности А и В; является ли вторая дальнейшим логическим развитием и упрощением первой или связь между этими системами более сложна и обусловлена какими-то иными причинами? Усилия лингвистов и филологов оказались направленными главным образом на изучение линейного письма В; это и понятно: в то время как в качестве образцов письма А найдено до сих пор всего лишь 220 надписей, к тому же чрезвычайно лапидарных, надписей системы В насчитывается к нашим дням более 3000!

В 1943 г. широко известный своими работами в области хеттологии чешский ученый Б. Грозный выступил с попыткой дешифровки линейного письма В. Но попытка оказалась неудачной, ибо была построена на основе сугубо искусственного языка, в котором сочетались элементы языков финикийского, хеттского, египетского и даже протоиндийского! Такого насквозь искусственного образования, конечно, не могло существовать в природе. Несколько позже болгарский лингвист В. Георгиев предположил, что письменности А и В относятся к единой языковой системе; он же впервые высказал мало кем разделявшееся тогда мнение, что язык надписей близок к греческому. Исходя далее из предпосылки, согласно которой финикийская письменность,

лежащая, кстати сказать, в основе, всех современных алфавитов, развилась из минойской, Георгиев был уверен, что знаки минойского письма должны иметь то же значение, что и близкие к ним финикийские. Георгиеву удалось, как это стало ясно в дальнейшем, правильно разгадать ряд знаков (12) минойского письма, однако предложенная им система дешифровки не давала возможности связного чтения текстов.

Новым толчком к активной работе по дешифровке послужили раскопки «дворца Нестора» в Пилосе, проводимые американским археологом Блегеном. Во время этих раскопок в 1939 г. был обнаружен грандиозный архив более чем из 600 табличек, написанных линейным письмом В, затем в 1952 г. было найдено еще 450 табличек. Находка памятников линейного письма В на Пелопоннесе, т. е. в материковой Греции, делала уже чрезвычайно возможным и правдоподобным предположение о том, что язык этих надписей является греческим. В течение 1951—1952 гг. состоялась, наконец, публикация всех найденных — как на Крите, так и в Пелопоннесе — памятников минойской письменности.

Честь дешифровки линейного письма В принадлежит молодому английскому ученому М. Вентрису, который в 1953 г. опубликовал (совместно с филологом Чадвиком) статью с кратким изложением своего замечательного открытия. Вентрису удалось убедительно расшифровать 63 знака из общего количества 88 знаков линейного письма В. Чтение, предлагаемое Вентрисом, дает в целом ряде случаев связный и осмысленный текст.

Работая над дешифровкой минойской письменности, Вентрис исходил из следующих — как выяснилось теперь, правильных — предпосылок. Во-первых, он считал, что линейное письмо А и В представляет собой одну и ту же, т. е. в принципе единую систему письменности, но языки, исполь-



зуемые письмом А и В, различны. Во-вторых, он пришел к выводу, что язык письма А — это неизвестный нам язык коренного населения Крита; язык же письма В есть не что иное, как один из диалектов (в его древнейшем варианте) греческого языка. Греки, по всей вероятности, приспособили созданную населением Крита систему письменности (т. е. письмо А) к нуждам и особенностям своего языка, и таким образом возникла новая система письменности (письмо В). И, наконец, Вентрис исходил из убеждения, что хорошо известное науке кипрское слоговое письмо является дальнейшим развитием минойского и, следовательно, основные правила этого слогового письма могут быть применены в отношении линейной письменности В.

Таковы важнейшие предпосылки, на основе которых Вентрис строил свою систему дешифровки. Однако она и теперь не всеми признается бесспорной. Некоторые лингвисты и филологи ее отвергают. Зато другие крупные знатоки (и в том числе ряд советских ученых) не менее решительно отстаивают правильность дешифровки Вентриса и продолжают работу по ее дальнейшему совершенствованию. К глубокому сожалению, сам Вентрис уже не может принять участия в этой работе, так как в 1956 г., в возрасте 34-х лет, он трагически погиб во время автомобильной катастрофы.

Но из истории мировой науки давно известно, что ни одно крупное открытие, тем более такое, которое вносит переворот в привычные и устоявшиеся представления, не завоевывает себе признания без боя. А дешифровка минойской письменности принадлежит именно к таким открытиям. Наряду с величественными, но немymi памятниками материальной культуры в распоряжении науки оказались теперь и говорящие источники — текст ряда документов, прочитанных по методу Вентриса. Все это в корне изменило прежние представления о древнейшей Греции.

Перед нашим взором открылась почти не известная до сих пор великая цивилизация, быть может не менее великая и своеобразная, чем «классическая» эллинская. Примерно с XVII в. до н. э., т. е. за 500 лет до так называемой «гомеровской эпохи», мы наблюдаем высокое экономическое и культурное развитие древнейших греческих, или, как принято их теперь называть, ахейских, государств на территории Пелопоннеса. Крупнейшими из них были Микены и Тиринф в Арголиде и Пилос в Мессении.

Не критяне, как считали раньше, ссылаясь на широко известный миф о Тесее и Минотавре, господствовали над прибрежной Грецией, а наоборот, ахейские греки завоевали в конце XVI — начале XV в. до н. э. сначала Кносс, а затем, видимо, и весь остров. Именно в ходе этого завоевания Крита произошло приспособление линейной письменности А к нуждам греческого языка и таким образом возникла система письма В.

Расцвет ахейских государств материковой Греции приходится на XV—XIII вв. до н. э. Ахейские греки простирают в это время свою власть не только на Крит, но и на ряд островов Эгейского моря. Они колонизируют побережье Малой Азии и поддерживают оживленные торговые сношения с Кипром, Египтом, Финикией. На рубеже XIII—XII вв. до н. э. ряд ахейских государств предпринимает грандиозную по тем временам военную экспедицию, известную под именем Троянской войны.

Микены или Тиринф эпохи расцвета, с их неприступными замками-дворцами, с их развитым, находящимся на высоком уровне дворцовым хозяйством, с их великолепной техникой гончарных, металлических и ювелирных изделий, с их получившим уже широкое развитие рабством, невольно наталкивают нас на мысль о классовой и имущественной дифференциации, на представление о высокоорганизованном

обществе и его цветущих городах — центрах экономической, политической и культурной жизни.

Однако этот блестящий расцвет, как нам теперь известно, оказался сравнительно кратким. В судьбе ахейских государств наступает роковой перелом. В конце XIII в. до н. э. на территорию Греции вторгаются с севера дорийские племена. Нашествие дорийцев не было единичным актом, наоборот, это был длительный процесс, в ходе которого не раз вздымались все нарастающие волны вторжения. Центры ахейской культуры разрушаются, население истреблено или поработано, завоеватели покоряют Фессалию, Пелопоннес, а затем и островные владения ахейцев. Так гибнет великая цивилизация — опустевшие города заносятся песком и землей, выдающиеся достижения науки и искусства стираются в памяти поколений. Наступает самый темный период греческой истории.

Так называемое «гомеровское общество», т. е. греческое общество того экономического и социального строя, который наиболее ярко отображен в поэмах Гомера, — это греческое общество уже после дорийского завоевания и гибели ахейской цивилизации. Отсюда его относительная примитивность, низкий уровень развития. Хозяйство приобретает довольно ярко выраженные черты натуральности, зарубежные торговые связи давно прерваны, письменность становится ненужной и забывается. Но в этом видимом упадке, в этом «спуске» к нижней части витка спиралевидного развития заложены основы возрождения. Новая — и не менее высокая в итоге своего развития — цивилизация приходит на смену исчезнувшей. Совершается одно из величайших таинств истории — качественный скачок, момент перехода в иное качество в мучительном, прекрасном и неотвратимом процессе вечного обновления человека — человечества — бытия.

Поездка из СССР в Грецию уже сама по себе — интересное и приятное путешествие. Особенно весной. Вот маршрут: из Одессы морем через Констанцу, Варну, Стамбул — до Пирея. А затем еще путешествие по Греции! Тьма впечатлений.

Хотелось бы сохранить для читателя свежесть и непосредственность этих впечатлений (пусть даже в ущерб тому, что обычно называют «стройностью изложения»). Но как это сделать? Попытаюсь довериться путевому дневнику, который я вел, быть может, не очень умело, зато очень старательно.

28.IV 1961 г. Московский поезд приходит в Одессу в 16<sup>05</sup>, и сразу же с вокзала нас везут автобусом Интуриста к «Лондонской». Это — старое название, теперь гостиница, конечно, называется «Одесса». Интересно, кому у нас полагается по должности придумывать названия гостиниц? Не знаю, во всяком случае это счастливые люди — они никак не обременены воображением. Я давно заметил, что во всех городах гостиницы — и, как правило, лучшие! — называются по имени самих городов. В Москве есть «Москва», в Вильнюсе — «Вильнюс» и даже во Владимире — «Владимир». И просто, и ясно, а главное никаких вредных экзотик!

В Одессе весной я впервые. На Приморском бульваре цветут каштаны. Порт и море — в легкой дымке. Прохладно.

Едем в порт. В таможне — почти никаких формальностей, осмотр багажа проходит доверчиво и быстро. И вот я на борту «Феликса Дзержинского». Теплоход мне очень нравится. Ужинать приглашают гонгом; кроме того, объясняют по радио. Кормят великолепно. На столах уже лежит меню на завтра; можно заказать что угодно.

В 20<sup>30</sup> отваливаем от стенки. Все пассажиры на мостике. Вид, в самом деле, хорош: полнеба еще в закате, но уже

встала луна и уже бежит от нее дорожка; Одесса — в россыпи вечерних огней, она медленно отступает от нас, и чем дальше мы отходим от берега, тем шире становится этот круг огней. Вот уже по правому борту — циклопический, мигающий глаз маяка. С одесского рейда выходим в открытое море.

Вечером обнаруживаю на нашем теплоходе весьма приятный бар. В баре — итальянский «тройной» ликер. Это вещь! В одной бутылке с тремя горлышками три разных ликера: шерри-бренди, банановый и пеперминт, т. е. мятный. В рюмку наливают все три, получается очень вкусно. Особенно с черным кофе.

29.IV. В 7<sup>30</sup> прибытие в Констанцу (Румыния). Констанцу я знаю, был здесь прошлой осенью во время конференции, организованной румынскими археологами и историками. Тем не менее иду прогуляться по городу. На берегу моря претенциозное здание Казино, неподалеку от него аквариум. Вспоминаю: и Казино, и аквариум — все это есть в Монте-Карло. Совпадение для Румынии (конечно, для бывшей Румынии) едва ли случайное!

На центральной площади — памятник Овидию. Констанца — это древние Томы, город на дальней окраине Римской империи, куда Овидий был сослан императором Августом по причинам, нам неизвестным, о которых историки и литературоведы гадают вот уже около двух тысяч лет. «Певец любви, певец богов», как его называл наш Пушкин, вовсе не был человеком с твердым характером и непреклонной душой: его «Тристии» и «Послания с Понта» полны униженных просьб, раскаянья, сожалений. Меня же всегда несколько смешило, с каким непритворным ужасом описывал этот изнеженный римлянин суровость здешних мест, которые он называет полярными и где, по его словам, вино зимою замерзает настолько, что его не пьют, но колют

и глотают кусками. И это про те места, которые расположены южнее самой южной точки нашего Крыма!

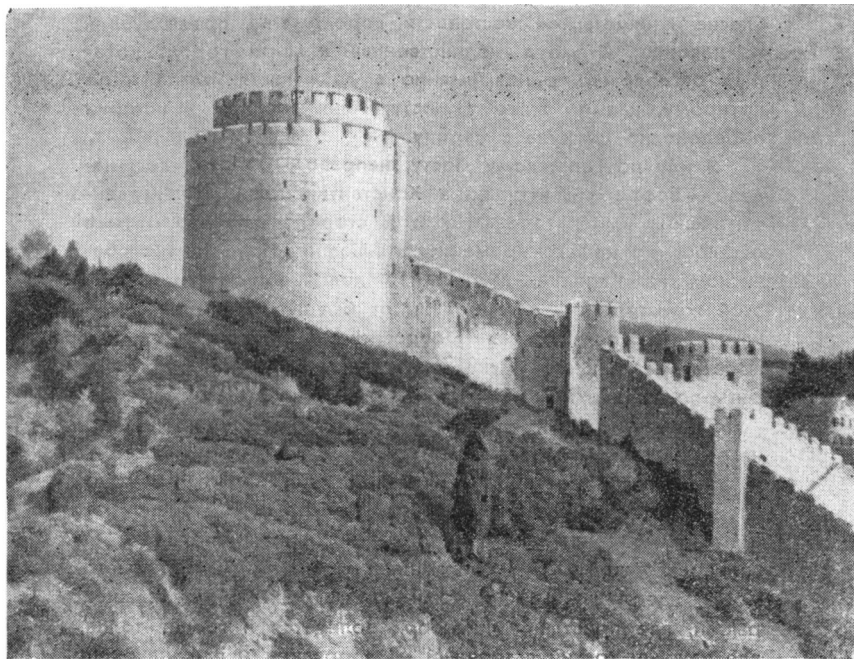
К вечеру приходим в Варну (Болгария). Город для меня интереснее, я здесь не бывал. Центральная площадь с фонтанами, по главной улице — гулянье, как и в наших южных городах. Болгары — удивительно милый, приветливый народ. В городе есть еще великолепный парк, который доходит до самого моря. В нем особенно хороши акации, сплошь усыпанные крупными желтыми цветами. Эта порода (или сорт) называется «золотой дождь». После прогулки сидел в парке, на берегу моря, пока не начало смеркаться.

30.IV. В 6<sup>45</sup> входим в Босфор. Опять все на верхнем мостике. Узкие берега. Две крепости друг против друга, по обеим сторонам пролива — Румелихисар и Анатолихисар. Они сооружены еще в те времена, когда шла борьба за Константинополь между Византией и турками.

Открывается панорама Стамбула. Мечети, минареты, деревья, цветущие розовыми и фиолетовыми цветами. Это, кажется, так называемое иудино дерево.

Через полчаса мы в городе. Не стану скрывать, я взволнован. И я не могу — более того, не имею права — оставаться равнодушным. Как историк, я ведь слишком хорошо знаю, насколько близко, насколько кровно соприкасались — и не раз! — на протяжении столетий судьбы моего народа с этим городом. С его судьбами, его историей!

Какая трудная и извилистая история, какая хитросплетенная судьба! Сначала — рядовая греческая колония на европейском берегу Босфора, т. е. Византий, имя, которое, наверное, бы умерло, превратилось в ничего не значащий звук, если б ему не суждено было возродиться в названии великой восточной империи. Затем Константинополь — столица этой империи, «второй Рим», олицетворение всей ее мощи и слабости, всего ее величия и ничтожества, ее



КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ НА БЕРЕГУ БОСФОРА

блеска и нищеты, ее жестокости, вероломства, простодушия. И, наконец, Стамбул — единственный в мире город, который расположен одновременно в двух частях света и по которому, как по живому мосту, Азия впервые в истории победоносно шагнула в Европу.

Я иду по Галатскому мосту, направо — Золотой Рог, налево — Босфор, я вступаю в Константинополь, столицу византийских императоров. На этой стороне все, что от нее осталось до нашего времени: Айя-София, Ипподром с обелиском из Карнака, змеевидная колонна Константина; на этой же стороне — но поодаль от бывшего центра столицы — стена, построенная Феодосием II, Адрианопольские ворота, развалины римского акведука. Все это, если говорить по правде, не производит уже большого впечатления.

Зато производит впечатление сам Константинополь, с его нагромождением мечетей и минаретов, с его путаницей — чуть только в сторону от центральных магистралей! — узких улочек, круто сбегающих под гору, улочек со ступеньками и лестницами, улочек-тупиков, с его базаром неподалеку от университетской арки, с его нижним пролетом Галатского моста, где ларьки с фруктами, где с рук торгуют свежей рыбой, где пристань, у которой волнуется и галдит толпа, где каждый третий встречный — оборванец и где, наконец, начинаешь понимать, как он выглядит на деле, этот многовековой стык двух континентов, двух культур.

К ужину возвращаюсь на теплоход. Поздно вечером проходим Дарданеллы. Эгейское море встречает нас не очень сильным, но все же вполне ощутимым штормом. Многих укачивает. На меня все это не оказывает никакого действия, я выпиваю на сон грядущий рюмку коньяку и великолепно засыпаю.

1.V. С утра идем мимо островов Эгейского моря. Вот тут-то начинают мне показывать — и пассажиры, и команда —





СОВРЕМЕННЫЕ АФИНЫ

остров, на котором заключен Манолис Глезос\*, причем каждый находит свой собственный остров и уверяет, что только он и есть подлинный. А когда мы приближаемся к Пирею, мне показывают по крайней мере четыре храма Посейдона на мысе Суний, и все в разных местах; я же не могу разглядеть ни одного.

В 13<sup>00</sup> теплоход пришвартовывается у стенки Пирейского порта. Затем — на автобусе в Афины. Еще по дороге замечаю, что на дверях домов, на балконах — свежие венки цветов. Здесь, оказывается, существует обычай вывешивать в первый майский день венки, которые потом так и висят, чуть ли не до следующего мая. Кроме того, в мае здесь не венчают — недаром и у нас говорят, что венчаться в мае, значит всю жизнь только маяться. Поэтому вчера был последний день «массовых» венчаний.

Останавливаюсь в отеле «Атлантик». Перед ужином небольшая «предварительная» прогулка по городу. Первое впечатление от Афин — неожиданное. Это совершенно новый город, выстроенный в промежутке между двумя мировыми войнами и даже, в значительной мере, после второй мировой войны. Поэтому Афины мало похожи на остальные европейские города. Здесь почти нет, во всяком случае в центре, старых кварталов или старых домов. Всего несколько пышных построек прошлого века — Академия, Национальная библиотека, музеи, все они выдержаны в классическом духе и все, конечно, по-эпигонски бездарны. Вообще я не раз убеждался, что архитектурные каноны и «правила» старательнее всего соблюдаются в поздних, эпигонских (и потому внутренне всегда эклектичных!) сооружениях, подлинные же памятники, от которых часто берет свое

---

\* Напоминаю читателю, что речь о поездке в Грецию весной 1961 г.



АКРОПОЛЬ. ХРАМ НИКИ

начало тот или иной стиль, тот или иной ордер, вовсе не знают такого стилевого ригоризма.

Но это — лишь отступление по поводу архитектурных канонов или зданий прошлого века, которых в Афинах не так уж много. Зато все остальное — стекло и бетон, конструктивистская архитектура, небоскребы в миниатюре. Город скорее — хоть мне об этом трудно судить — американского типа. Вот тебе и Афины!

С балкона моей гостиницы ночью виден подсвеченный Акрополь.

2.V. Сегодня в первой половине дня — Национальный музей. Как всегда, обилие экспонатов только подавляет. Запомнились шлимановские залы (золотые вещи из Микен), кубки из Вафио, женская голова, предположительно, Скопаса и зал архаики (например, великолепный курос из храма Посейдона на Сунии). Большая коллекция ваз уже никак не дошла.

После обеда — Акрополь. Туда принято ходить к вечеру — лучше освещение. И хотя Акрополь чуть ли не самое главное, из-за чего я сюда ехал, описывать его я вовсе не собираюсь. Да и как это сделать? Описывать Акрополь «технично» — не к месту и скучно, описывать же, как поступают некоторые, при помощи пышных эпитетов и восклицательных знаков, по-моему, просто неприлично. И вообще не следует описывать те вещи, предметы, памятники, которые хоть и не все видели, но все считают, что они им доподлинно известны. Такие попытки даже небезопасны. Поэтому вместо подробного описания Акрополя — всего лишь несколько соображений, пришедших мне в голову уже после его осмотра.

Прежде всего я понял, вернее даже, ощутил (я, конечно, знал это и раньше, но лишь умозрительно!), что для греков архитектура начиналась с выбора места.

Окружающая природа, среда — то, что хорошо передается немецким словом *Umgebung*, — вот чем был тогда обусловлен строй архитектурного ансамбля. В этом первобытном, младенческом и ныне почти утраченном умении слить воедино искусство и природу и дает разгадать себя природа античного искусства.

Каким великолепным «задником» служат Акрополю окрестные горы! И удивительно подумать, что этот «задник», эти декорации никак и ни в чем не изменились за истекшие столетия. А какой обзор — виден не только весь город, но и Пирей, и море!

Очарователен на Акрополе маленький храм Ники Аптерос, причем, если смотреть на него снизу, он органически вырастает из скалы. Бесспорен Парфенон, его мощные пропорции величественны и просты. Вот «частный вид» — между сквозными колоннами Парфенона на горы и небо. Вот взгляд вниз, с обрыва — Тесейон, или, вернее, храм Гефеста, Стоя Аттала, театр Герода Аттика, где и теперь, обычно в августе-сентябре, дают античную трагедию.

И все же на Акрополе мне пришла в голову одна еретическая мысль. Что, если это благородство линий, безукоризненность и чистота пропорций — все, что нас теперь так восхищает и кажется навеки утерянным секретом, почти чудом, — что, если все это лишь результат работы времени? Время, как известно, многое облагораживает. Иными словами, когда лучше «смотрелся» Акрополь — в те годы, когда еще был цел и невредим, или теперь, когда он лежит перед нами в развалинах? Этот вопрос, кстати сказать, не так уж нелеп, как может показаться с первого взгляда.

Мы смотрим на античные статуи, удивляясь их изысканной простоте, но забываем, что эти статуи раскрашивались и у них были вставные глаза. Мы смотрим сквозь колонны античного храма на горы и небо, но забываем, что колонны



**ΠΑΡΘΕΝΟΝ**

не просматривались. Я видел известные многим реконструкции афинского Акрополя, но они не вызывали и не вызывают у меня чувства восторга. Судя по ним, Акрополь был забит достопримечательностями, как лавка антикара всякой всячиной. Негде было даже повернуться! Тут тебе и колонны, и портики, и кариакиды, и статуи. И все еще было новеньким, с иголочки, все блестело, все было раскрашено. Страшно и подумать!

3.V. Почти весь день гулял по городу. Первые впечатления начинают отставаться, кристаллизуются. Город действительно американизированный, вернее, тщится выглядеть таковым. Особенно вечером: огни реклам, ночные клубы, блеск и роскошь витрин. Но все это в таких до смешного малых, в таких мизерных масштабах, что кажется чуть ли не пародией. Много по-настоящему провинциального: лавчонки на улице Агиу Марку, рынок, тележки, запряженные осликами.

Характер толпы трудно уловим, во всяком случае греки как-то мало похожи на южан: слишком спокойны и сдержанны. Даже внешне они выглядят не так, как я себе представлял: менее смуглы, менее черноволосы (хотя все гречанки блондинки — только крашенные!). Ничего общего с экспансивностью итальянцев или наших грузин. Одеты тщательно. Прямо какие-то англичане Южной Европы!

На улице Венизелоса и Панэпистими (Университетской) — большое оживление и толчея даже поздно вечером. Кафе со столиками на тротуарах, как во всех южных городах. Но странно, что ни из кафе, ни из ресторанов, ни из окон домов — ниоткуда не слышно музыки. На площади Омониа подземный переход; там, под землей, целый город — ларьки, магазины, закусовые, есть даже большой ресторан. Но в общем и это все выглядит довольно провинциально.

4.V. Начало шестидневного путешествия по стране. Рано утром выезжаем из Афин автобусом. Дорога выводит к морю. Вот уже виден Саламин; огибаем гору, с которой, по преданию, Ксеркс наблюдал за ходом сражения, решившего всю дальнейшую судьбу Греции. Первая остановка в Элевсине.

С именем этого небольшого городка связана память о знаменитых мистериях. Считалось, что они были учреждены самой Деметрой, богиней плодородия и земледелия. В здешних местах владыка подземного царства Плутон (Аид) похитил ее дочь Персефону. Деметра, не пожелавшая почему-то оценить всей галантности этого поступка, разгневалась и перестала посылать на землю урожай. Человеческому роду грозила гибель. Тогда Зевс распорядился вернуть Персефону матери. Однако Плутон уговорил ее проглотить несколько гранатовых зерен — символ и гарантия (!) супружеской верности, — и Персефона уже не смогла его окончательно покинуть. Весною она выходит к матери и природа оживает, осенью же снова возвращается к своему супругу в подземное царство.

Соответственно этому элевсинские мистерии праздновались и весной и осенью. В них могли участвовать только «посвященные». Желаящие принять посвящение должны были пройти через ряд испытаний: они очищались водой Илисса, вступали ночью в храм Деметры, где темнота внезапно сменялась ослепительным светом, тишина — раскатами грома. Особенно пышно праздновались Великие (осенние) мистерии, когда по Священной дороге, ведущей из Афин в Элевсин, двигалась торжественная процессия, возглавляемая жрецами и должностными лицами. Участники шествия, увенчанные миртовыми венками, несли факелы, плуги и другие земледельческие орудия. Празднества длились девять дней: по ночам на берегу Элевсинского залива



устроивались драматизированные представления, темой которых служило похищение Персефоны и поиски ее Де-метрой.

Я видел Священную дорогу, более того, видел даже колеи проезжавших здесь когда-то колесниц. Я видел остатки Пропилеев и развалины Плутона — храма, выстроенного над расселиной в земле, через которую Плутон увлек Персефону в свое царство. Но, когда я стоял над этой расселиной среди обломков мрамора, поросших травой и диким цикорием, над моей головой все время, со свистом и ревом, проносились реактивные самолеты. Оказалось, неподалеку школа военных летчиков и учебный аэродром. Ну, что ж, если для греков когда-то представление о загробном царстве было связано с мирным земледельческим культом, с идеей прорастания зерна, то ныне оно — и, несомненно, с большим основанием! — связывается с идеей реактивных бомбардировщиков.

Едем дальше, проезжаем Мегары. Затем — Коринфский канал, соединяющий два моря: Эгейское с Ионическим. Это очень интересное сооружение. Представьте себе огромную, с гладкими и ровно стесанными краями щель в земле, причем длина этой щели — 7000 м, ширина — 25 м, а глубина — 80 м. Когда смотришь в эту щель с моста, который перекинут через нее, суда, проходящие внизу, почти на стометровой глубине, кажутся игрушечными. Канал начали строить при Нероне, а закончили всего лишь в прошлом столетии.

Проезжаем сначала новый Коринф, в нескольких километрах от него — древний город. Великолепно поставленный храм Аполлона, сквозной на фоне гор и залива. Под ним — остатки агоры, уже римского времени.

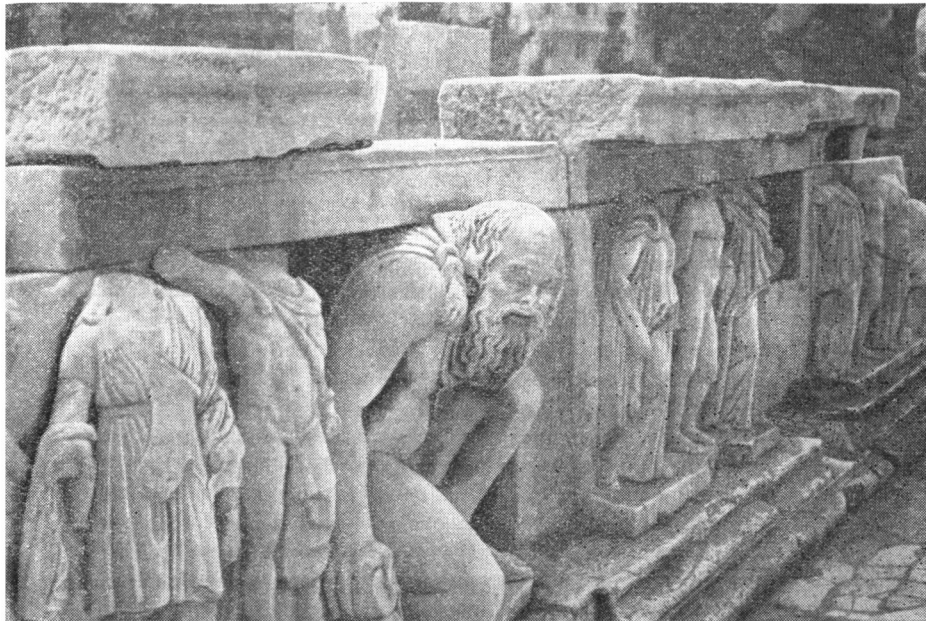
Затем, конечно, музей. Это, кстати сказать, второй музей за нынешний день. Был еще музей в Элевсине, о котором я не упоминал, потому что он не произвел на меня

большого впечатления. По этой же причине не собираюсь говорить и о коринфском музее, но о музеях вообще, музеях как таковых хотелось бы сказать несколько слов.

Я всецело признаю за музеями значение научных институтов. Кстати, у древних греков дело обстояло именно таким образом. Самый первый в мире музей, основанный в Александрии, как говорит об этом его название (мусейон — храм муз, храм наук и искусств), был научным учреждением. Но осматривать наши современные музеи — а мы обычно их только осматриваем — почти всегда мучительно. Дело в том, что всякий музей, всякое собрание по самой природе своей стремится к исчерпывающей полноте. Отсюда — слишком много лишнего, ненужного, второсортного во всех знаменитых музеях Европы. Если это, к примеру, античный отдел, то пять-шесть подлинно прекрасных вещей тонут в груде, в десятках и сотнях скверных римских копий (Национальный музей в Неаполе), если это итальянское Возрождение, то многометровые полотна Веронезе забивают все остальное, что, вероятно, и стоило бы посмотреть (Лувр).

Местные греческие музеи скромнее, меньше, но все же и они утомительны. Я долго не мог понять (и, кстати сказать, стыдился в этом признаться), почему мне в музеях, как правило, скучно, почему я быстро устаю и почему античные статуи, расставленные правильными рядами, или фризы и метопы, аккуратно развешанные по стенам, не доставляют мне никакого «эстетического наслаждения». По-настоящему я это, собственно говоря, только в Греции.

Я уже упоминал об особом, почти стихийном чувстве, или, если можно так выразиться, инстинкте ансамбля, свойственном грекам. Поэтому для них и круглая скульптура, и, тем более, рельеф никогда не имели самодовлеющего значения, никогда не мыслились вне здания, вне ансамбля. Вырванные из этого окружения, они теряют почти все



ТЕАТР ДИОНИСА (АФИНЫ)

в своей силе, смысле, значении. Расставленные же бесконечными правильными рядами, как это делается в наших музеях, они способны внушить лишь чувство скуки, если не отвращения. Я уверен, если б только «древний» грек мог взглянуть на экспозиции наших музеев, он пришел бы в ужас и обозвал нас — с полным основанием! — грубыми варварами.

5.V. Сегодня одно из самых сильных впечатлений за все время поездки — Микены и Тиринф.

Сначала Микены. Циклопическая кладка стен, пологий подъем, дорога ведет под Львиные ворота. Они известны во всем мире по бесчисленным воспроизведениям, их не стоит описывать. Внизу — круг царских могил. Это так называемые шахтовые погребения первой династии, раскопанные Шлиманом.

Микенский акрополь с одной стороны «подперт» и защищен круто вздымающейся горою. Здесь, на вершине — ветер. В горах бродят стада овец, каждая из них с колокольчиком, у каждого колокольчика свой особый голос, на ветру звучит — то замирая, то разрастаясь — изумительная полифоническая фраза. Огромный обзор — расходящиеся концентрическими кругами горы, перевалы, долины, высокое небо, непередаваемое ощущение величия и тишины.

Спускаюсь к знаменитой «сокровищнице Атрея», купольной гробнице, известной еще до Шлимана. Издали это — просто холм, поросший травой и кустарником. Внутрь гробницы ведет дромос. Он упирается в массивную дверь, перекрытую огромными каменными плитами. Круглое помещение самой гробницы производит ошеломляющее впечатление: это — поставленный прямо на землю купол, который, равномерно сужаясь, уходит ввысь. Свод купола сложен также из циклопических камней, связанных друг с другом лишь силой собственной тяжести. Он был в свое время ок-

рашен в голубой цвет и усеян бронзовыми розетками, напоминая звездное небо. Все, что создано греками в так называемую «классическую эпоху», кажется просто детскими игрушками по сравнению с этим мощным и величественным сооружением.

Из Микен едем дальше через Аргос, где останавливаемся всего на несколько минут. Город буквально утопает в розах, они огромные и мохнатые, как наши пионы. Едем цветущими апельсиновыми рощами: запах, напоминающий жасмин. Приезжаем в Тиринф.

Это — родина Геракла. Тиринфский акрополь расположен на крутой (хотя и не очень высокой) известняковой скале. Площадка дворца еще более грандиозна, чем в Микенах. Остатки крытой галереи — блестящий образец строительной техники того времени. По преданию, один из первых правителей Тиринфа призвал к себе семь циклопов, которые и выстроили ему этот дворец и стены. Тоже великолепный обзор — видны не только горы, как с микенского акрополя, но и море.

Микены и Тиринф — бессмертные памятники великой цивилизации. Не повидавши их, нельзя понять всего ее величия. Микенская техника, по-моему, в некоторых отношениях превосходит технику «классической» Греции. Микенское искусство — зодчество, фресковая живопись, керамика — совершеннее и тоньше греческого искусства эпохи Перикла. Я не сомневаюсь также, что ахейские государства (Микены, Тиринф, Пилос) по общему уровню своего экономического и культурного развития не уступали самым передовым эллинским полисам V—IV вв. до н. э.

Из Тиринфа направляемся в Эпидавр. Там, само собой разумеется, музей (кстати, в Микенах и Тиринфе — никаких музеев!). В здешнем музее, помимо сохранившихся частей зданий — Ротонды, храма Дианы, большой макет (рекон-

струкция) всего Асклепиона. Но какое жалкое впечатление производит он после микенских памятников! Какое мелко-темье архитектуры, какое дешевое «украшательство»! Единственное извинение — Эпидавр был по существу курортом, причём модным курортом, вроде наших Гагр или Сочи.

Пожалуй, в Эпидавре интересен только знаменитый и, кстати сказать, прекрасно сохранившийся театр. В нём — 56 рядов, 14 тысяч мест. Подымаюсь в последний ряд. Внизу, на сцене, шуршат бумагой, роняют на каменный пол монету, говорят приглушённым голосом — все слышно совершенно отчетливо. Этот театр (как и все античные театры, он, конечно, без крыши) — чудо акустики. Он построен с пониманием, вернее, с гениальной догадкой о законах распространения звуковых волн.

Ночью в городке Навплион. Сугубо провинциальная, даже сельская гостиница, зато называется пышно — «Семирамида». Перед сном иду прогуляться вдоль залива. По южному темная ночь. Ярко освещённые таверны, запах моря, низкие звезды.

6.V. Утром в «Семирамиде» меня будит пение петуха. Весь день — в пути. Снова проезжаем Тиринф и Аргос. Автобус по серпантинной дороге взбирается на гору, высота — около тысячи метров, один за другим открываются великолепные виды на окрестные холмы и долины, на залив. Подъезжаем к Триполису. На горе огромными буквами выложено короткое слово *οχι*. По-гречески «охи» означает «нет», и это слово, ставшее призывом, напоминает о том дне, когда греки впервые сказали «нет» итало-германским оккупантам, т. е. о дне, когда зародилось освободительное движение. «День охи» и сейчас — национальный праздник греческого народа.

В Триполисе остановка на четверть часа. Едем через Тегейскую равнину, проезжаем Мантинею. На невысоком



ТЕАТР В ЭПИДАВРЕ

холме у дороги — памятник 118 спартанцам, расстрелянным гитлеровцами. У подножия памятника свежие полевые цветы.

Едем дальше — открывается вид на Тайгет с его вершинами, слегка тронутыми снегом. Внизу долина Эвроты. Как и большинство рек Греции, это — горная река; летом она почти пересыхает. Въезжаем в Спарту.

Та самая Спарта, с которой связаны наши еще детские представления о спартанском воспитании и закалке, о лаконизме — «со щитом или на щите», «приди и возьми» и тому подобное. Та самая Спарта, где были илоты, криптии, железные деньги и где в народном собрании голосовали просто криком.

Однако от древней Спарты, собственно говоря, ничего не осталось; нынешняя же Спарта — небольшой, но вполне современный город. Зато есть памятник никогда не существовавшему Ликургу, есть улица Клеомброта, даже есть отель «Менелай». Наверное, есть и «Елена», просто мне не попалась на глаза. Странно было вечером из окна гостиницы — кстати, весьма роскошной и весьма модернизированной — смотреть на улицы Спарты в разноцветных огнях неоновых реклам.

7.V. Сегодня с утра — колокольный звон. Воскресенье. После завтрака — выезд из Спарты. Опять — через Тегею, Триполис, но за Триполисом сворачиваем на дорогу, ведущую к Олимпии.

Музей Олимпии. Я и на сей раз не собираюсь докучать перечислением его достопримечательностей, но об одной из них, пожалуй, следует сказать. Это — Гермес Праксителя. Тот самый Гермес, который одной рукой держит младенца Диониса, а другой (предположительно!) — виноградную гроздь. И у которого, как говорят знатоки-искусствоведы, настоящий Праксителев «влажный» взгляд (что достигается, по их же компетентному мнению, «при помощи частичного



слияния нижнего века с глазным яблоком»). Все посетители замирают перед Гермесом в безмолвном восхищении. Очень знаменитая скульптура!

Однако те же знатоки-искусствоведы, как я слышал, все еще продолжают спорить, подлинный ли это Пракситель или только римская копия. Я лично очень хотел бы надеяться, что да, именно копия. Слишком уж тут все подчищено, даже «зализано», слишком явно ощущается стремление к красивости. Во всяком случае, это не для меня.

Более того, за время своей поездки по Греции я пришел к убеждению, что греческое искусство так называемого «классического периода», несмотря на все канонические со-вершенства (или как раз благодаря им!), мало что может сказать уму и сердцу современного человека. Это вовсе не оценка с точки зрения «хорошо» или «плохо», это тем более не вопрос личного вкуса, что вообще не имеет серьезного значения; нет, очевидно, речь должна идти о другом — о вкусах эпохи, поколения.

Попытаюсь объяснить. Вкусы и духовные запросы поколений на протяжении веков могут повторяться или если не повторяться, то как-то ассоциативно совпадать. Вот пример. Греко-римское «классическое» искусство воскресало дважды: в эпоху Возрождения и в революцию 1789 г. Это, конечно, было явлением не случайным. Видимо, в те эпохи оно — по ряду причин! — в гораздо большей степени отвечало вкусам, запросам, умонастроению поколений, чем, скажем, в наше время. Но значит ли это, что греческое искусство, греческая культура теперь для нас мертвы? Вовсе нет! Ибо греческое искусство отнюдь не исчерпывается «классическим периодом», существует еще искусство «доклассическое» — греческая архаика. И вот именно она, греческая архаика, оказывается ныне неожиданно близка нашему со-

временному сознанию, нашему мироощущению. Она пере-кликается с ним столь же живо и созвучно, как домоцартовская музыка с музыкой наших дней.

И вообще эта так называемая архаика, что она такое — примитив или утонченность, неумение или уже преодоленное умение? Этого я не знаю, но для меня бесспорно одно: греческое архаическое искусство стоит — *mutatis mutandis* — в том же ассоциативном ряду, что и искусство современное.

После музея прогулка по Олимпии. Сначала — памятник барону Кубертену, который, оказывается, в каком-то там году восстановил обычай Олимпийских игр. Неподалеку жертвенник; на нем возжигают олимпийский огонь и факелами несут в ту страну, где в данном году игры происходят. Затем — священная роща Альтис.

Это очень поэтическое место. Высокая трава, старые деревья, более чем живописные развалины. Остатки гимнасия, палестры, мастерской Фидия. Пьедестал Ники Пеония. Храм Зевса Олимпийского, где и находилась знаменитая Фидиева статуя. Наконец, стадион (он вмещал 20 тыс. человек) с раскопанным стартом. Говорят, его хотят модернизировать и превратить во вполне современный международный стадион.

8.V. В Афинах, в особенности на центральных улицах, как я уже упоминал, большое оживление, толпы народа; люди скапливаются у светофоров и затем, толкаясь и спеша, устремляются на зеленый свет, а вот когда едешь по стране — как я эти несколько дней — то людей почти не видно, удивительное безлюдье, селенья тоже редки, и можно ехать часами — не только в горах, но и по равнинным дорогам — и не встретить ни единого человека. Самый досадный пробел всего моего путешествия по Греции — отсутствие общения с людьми. По этой причине я, конечно, не узнал страны по-настоящему. По этой же причине Греция

в моем восприятии, а следовательно, и в моем изображении, как ни обидно в этом признаваться,— не живая страна, а то, против чего я в принципе восстаю всеми силами души: страна-музей. Но здесь нет моей вины, и дело, конечно, не только и не столько в безлюдье (хотя это обстоятельство «способствует»), сколько в старании греческих организаций соответствующим образом «обеспечить» мой маршрут. Само собой разумеется, тут я уже ничего не мог поделать!

Сегодня — выезд в конечный пункт всего путешествия по стране, в Дельфы. Едем через Пиргос, остановка на несколько минут не то в городке, не то селе Савалия, около лавки, где продают керосин, лимоны, возжи и иллюстрированные рассказы из священного писания. Сельский универсам греческого образца.

Обед в Патрах. Это довольно большой город, но я его почти не видел. Из Патр — в Эгий; здесь наш автобус въезжает прямо на так называемый «ферри-бот», т. е. паром, на котором мы и переправляемся через Коринфский залив. Переправа длится довольно долго, часа три.

Дорога на Дельфы. Снова серпантинная дорога, снова горы, оливковые леса — самые богатые во всей Греции — открывается вид на Парнасский хребет. Под вечер приезжаем в Дельфы.

Останавливаюсь в гостинице и, несмотря на усталость после дороги, иду к храму Аполлона. Ну, как же не пойти! Это ведь и есть знаменитый дельфийский оракул!

И я вовсе не жалею, что пошел. Идти недалеко, и уже минут через двадцать ходьбы горы (это все Парнасский хребет!) расступаются мощным и резко очерченным амфитеатром и на переднем плане, на плоском и не очень высоком холме, как на столе или на подносе, — весь комплекс дельфийского святилища. Я еще успею все это осмотреть завтра, сейчас важен только общий вид.

Быстро темнеет. Горы сдвигаются ближе. Он великолепен, этот «общий вид». Недаром греки верили, что здесь, в Дельфах,— пуп земли. Пожалуй, никогда не видел ничего более величественного. Но и более мрачного. Вспоминаю: Аполлон, которого мы обычно представляем светлым солнечным богом, «златокудрым Фебом», в представлениях самих греков — во всяком случае спервоначалу — злой и мстительный бог.

9.V. Проснулся на рассвете. Восхитительное утро. В горах куковала кукушка. Я загадал: она прокуковала мне двадцать раз. Не густо, но жить можно!

Вышел на балкон. Гостиница, оказывается, «пристроена» к скале. Ее фундамент — на подошве этой скалы; здесь сделана насыпная площадка и разбит цветник. А под скалой — обрыв, пропасть.

Встает солнце, но за горами его еще не видно. Горы расходятся правильными концентрическими кругами. Вид совершенно фантастический: подо мною парят орлы, вдали блестит море, над горами летит самолет. Он летит высоко, звука не слышно, лишь все дальше и дальше прочерчивается в небе прямой белый след; местами он уже начал курчавиться и рассыпаться. Всеобъемлющая, полная и вместе с тем не пустая тишина. Кукушка то замолкнет, то снова примется куковать.

После завтрака — осмотр храма Аполлона. При ярком дневном свете все выглядит не так уж мрачно, но зато и не так величественно. По-прежнему хорош Парнас — серо-желтые скалы на фоне настоящего синего неба (такого неба у нас, на севере, не бывает!). Нынешний храм Аполлона — вернее, то, что от него осталось, — третий по счету храм на этом месте. Первый был деревянным, второй — каменный, выстроен при Алкмеонидах, а нынешний — в IV в. до н. э. Он был действующим храмом почти восьмьсот лет,

т. е. до правления Феодосия Великого, когда языческие культы были окончательно и бесповоротно запрещены.

В храме до сих пор показывают то священное место, где, по расчетам греков, находился омфал — пуп земли (этот пуп земли, высеченный из камня, я видел потом в музее!). Тут же неподалеку расселина, над которой сидела на треножнике пифия и, одуряясь идущими из этой расселины парами, произносила свои прорицания, или оракулы.

Дельфийский оракул славился в древности во всем мире. Чем темнее и двусмысленнее были его прорицания, тем более они оказывались верны. К непоколебимому авторитету святилища прибегали во всех затруднительных случаях. Ни одна греческая колония не выселялась без одобрения оракула. Нередко вопрос о начале войны или заключении мира решался прорицаниями пифии. Дельфийские жрецы — толкователи ее несвязных изречений — занимались (с равным успехом!) политикой и ростовщическими операциями. В храм стекались огромные богатства: пожертвования, вклады, военная добыча. До сих пор сохранилось здание сокровищницы афинян, приношения и посвячительные памятники аргосских царей, лакедемонян, а также остатки театра, стадиона и прелестного круглого здания Ротонды.

После осмотра дельфийского святилища идем к Нимфейону и Кастальскому ключу, посвященному Аполлону и музам. В нем в свое время очищались паломники, направлявшиеся в Дельфы. Это тот самый знаменитый источник, про который сказано: «Кастальский ключ волною вдохновения в степи мирской изгнанников поит». Отнюдь не чувствуя себя изгнанником и не особенно рассчитывая на вдохновение, я все же напился из Кастальского ключа.

В 14<sup>00</sup> отъезд из Дельф. Едем «домой» — в Афины. Маршрут: через городок Арахова, деревню Бистома, где немцы убили всех мужчин и женщины до сих пор ходят в

трауре, через Левадию; затем — Беотия, Фивы, затем развилка дорог; направо — дорога на Платеи, мы же сворачиваем налево, начинается Аттика, и вот уже знакомым путем — через Элевсин, побережьем, мимо Саламина — въезжаем в Афины и я возвращаюсь в свой «Атлантик».

10—12.V. Живу еще три дня в Афинах. Эти дни нет смысла подробно описывать. В общем — все то же самое, все время что-нибудь да осматриваю. Ничего не поделаешь — за тем сюда приехал!

Был на мысе Суний, где находится знаменитый храм Посейдона, тот самый, который я никак не мог разглядеть, когда мы морем подходили к Пирею. Однако на мысе было слишком ветрено и слишком много туристов, а храм мне вовсе не понравился. Наиболее занятым было, пожалуй, вот что: храм построен из какого-то мягкого, как мне объяснили, аргилезского мрамора, поэтому и фундамент, и все сохранившиеся колонны буквально испещрены росписями туристов, посещавших эту достопримечательность на протяжении многих десятков, если не сотен, лет. Вроде наших надписей на крымских или кавказских скалах. Только здесь это безобразие, так сказать, в широком, международном масштабе. И росписи на всех языках мира. Среди них есть и такая — очень четко и очень глубоко вырезанная на одной из колонн — Вурон. Тоже, оказывается, как и мы, грешные, был не лишен тщеславия!

Ездил на остров Эгину. Всякие древности, которые полагаются там осматривать, не произвели большого впечатления. Зато запомнилось другое: «яростно-красивое» море, как выразился один из моих спутников, когда мы смотрели на это море с горы, где храм Афины-Афеи, дерево «могавилла», цветущее крупными фиолетовыми цветами и похожее на огромный букет; кроме того, на Эгине я видел осьминога — мертвый, он был распластан на песке



РОТОНДА В ДЕЛЬФАХ

набережной; кто и зачем выставил его тут напоказ, я так и не понял.

В последний вечер снова ходил на Акрополь. Поскольку на данную тему я высказывался, повторяться не буду. Да это, собственно говоря, было уже сугубо «ритуальное» посещение.

13.V. Сегодня во второй половине дня уезжаю из Греции. И тем не менее утром мне заботливо и предупредительно «выдают» еще один музей.

На сей раз это музей Пирея. Поначалу в нем все так же однообразно и утомительно, как и в любом другом музее. И вдруг — не прощальный ли то дар богов Эллады? — изумительные пирейские бронзы.

Они на самом деле очень хороши. Это статуи, найденные совершенно случайно во время недавнего ремонта водопровода или каких-то других земляных работ в Пирее. Пять бронзовых статуй, из которых я видел три (остальные — в реставрационных мастерских). Найдены они были все вместе (хотя они никак не связаны друг с другом), укрытыми в тайнике. Предполагают, что их там спрятали, когда Сулла грабил Афины.

Искусствоведы уже все определили и датируют их (во всяком случае те, что я видел) IV в. до н. э. Не знаю, быть может, и так, но для меня главная прелесть этих бронз в том, — к какому бы веку они ни принадлежали! — что на них нет ни малейшего следа лакировки «классицизма». Чистота линий изумительная!

Чего стоят, например, складки пеплоса или форма пальцев руки Афины! Я даже не знаю, с чем их можно сравнить, эти пальцы, разве только с формой капли в тот момент, когда она, растягиваясь, отрывается от поверхности. А какой благородный след оставило на бронзе статуй время — зеленая патина, снимающая наружный блеск



и сохраняющая самую суть: соотношение частей и фактуру материала.

Из Пирея возвращаюсь в Афины. Прощальный обед в «Атлантике». Затем — снова в Пирей. В порту таможенные формальности, предотъездная суета. В 17<sup>30</sup> наш теплоход отваливает от стенки. Выходим в море. Сижу на верхней палубе, ветер, я в плаще, и долго, еще очень долго виден храм Посейдона на мысе Суний. Теперь я его узнаю и с моря!

### III

Итак, путешествие в Грецию окончено. И уже прошло после него несколько месяцев. Но странно: чем больше проходит дней и недель, чем дальше отодвигается во времени эта поездка, тем сильнее стирается поверхностность и калейдоскопичность впечатлений — всему этому я уже отдал дань в своем путевом дневнике, но остается и не уходит ощущение чего-то цельного, значительного, ощущение какого-то внутреннего события. В чем же дело? Что, собственно говоря, могло вызвать у меня такое ощущение?

Памятники искусства, памятники архитектуры? Они, спору нет, в своем роде замечательны и способны привести в восторг любого искусствоведа или археолога, но я не принадлежу к их высокому цеху и потому не обязан испытывать чувство священного трепета перед каждым мраморным обломком. В силу этого я могу сохранять большую свободу суждений и, как уже — смею надеяться — заметил мой читатель, приемлю далеко не все и далеко не все нахожу «созвучным» в греческом искусстве, в особенности так называемой «классической» эпохи. Но если бы даже я принимал все слепо и безоговорочно, то и в таком случае

отдельные памятники искусства, как бы они ни были сами по себе хороши, едва ли могли вызвать у меня ощущение какого-то внутреннего события.

Тогда, может быть, природа? Природа этой маленькой страны действительно произвела на меня глубокое впечатление. Да она вовсе и не кажется маленькой, эта страна, об этом начисто забываешь, когда перед тобой все время обзоры, горизонты, величие гор, беспредельность моря. В природе Греции есть нечто первозданное и вместе с тем нечто, уже облагороженное человеческим гением — трудом Прометея.

Итак, значит, природа? Нет, все же не то! И только постепенно и не сразу я понял: главное, что и оставило по себе память внутреннего события, — это зрелище, причем увиденное собственными глазами (и в этом тоже — главное!), зрелище смены великих исторических цивилизаций. Нигде это зрелище не предстает с такой силой, так ярко и наглядно, как в Греции.

Вот великая ахейская цивилизация — мир, полный волнующей таинственности, в который мы только-только начинаем проникать. Вот его грандиозные и еще не всегда понятные нам материальные памятники, вот сокровищница его письменности, которая тоже должна еще открыть нам свои страницы, страницы истории более чем трехтысячелетней давности. Вот эпоха блестящего расцвета этой цивилизации — Львиные ворота Микен, тиринфский замок-крепость, дворец Нестора в Пилосе. И вот, наконец, потрясающее зрелище ее гибели — микенский акрополь, каким он предстал передо мною теперь: лысый холм, безлюдье, ветер, перезвон овечьих бубенцов в горах.

Ощутимо убеждаешься, даже видишь, как на смену этой погибшей цивилизации приходит новая, т. е. «классическая», эллинская цивилизация. Наблюдаешь почти все этапы ее

развития. И дело не в том, что афинский Акрополь, быть может, выглядел хуже, чем мы его обычно представляем, но в том, что эллинская цивилизация в широком смысле слова была все же бесспорной основой и источником цивилизации современной. Более того, она была жива, она оплодотворяла нашу цивилизацию по крайней мере вплоть до конца прошлого столетия. И вот здесь, в Греции, наблюдаешь и развитие, и постепенное вырождение ее «классических» канонов.

И в той же Греции — на сей раз я имею в виду главным образом Афины — скачок в цивилизацию европейскую, причем на ее ультрасовременном этапе. В этом своеобразии нынешней Греции и ее отличие от других стран античной культуры, и прежде всего от Италии. В Италии не испытываешь ощущения подобного скачка, подобной резкости перехода, ибо там ясно видны все «промежуточные звенья», там убожество современного этапа буржуазной культуры скрадывается, «спасено» великими памятниками эпохи ее становления.

В Афинах же нет ни «средневековья», ни «возрождения», ни даже «нового времени» — одна лишь современность! И так как современная буржуазная «цивилизация» представлена здесь эпигонски и провинциально, то невольно именно здесь, в Афинах, встает вопрос: а не зрелище ли это кризиса или даже вырождения и современной, т. е. так называемой «западной цивилизации»?

Вот на какие размышления навело меня путешествие в Грецию. Однако, говоря — и уже не в первый раз — о великих исторических цивилизациях или, как сейчас, о зрелище их гибели, я, признаюсь откровенно, несколько обеспокоен. Поймут ли меня правильно? Могу ли я пользоваться таким понятием, как «цивилизация», рассуждать о смене и гибели цивилизаций, да еще рассматривать в подобном

аспекте историю древней Греции? Не обвинят ли меня в страшной ереси, ереси шпенглерианства и тойнбизма?

Дело в том, что концепция всемирной истории как истории сменяющих друг друга великих культур или цивилизаций, концепция, идущая, как известно, от Шпенглера и Тойнби, все еще может считаться довольно широко распространенной. Возникла целая школа последователей этой точки зрения, насчитывающая многочисленных представителей в различных странах «западного мира». Создано — и совсем недавно — «Интернациональное общество сравнительного изучения цивилизаций» (*International society for the comparative study of civilisations*). Любопытно отметить, что президентом этого общества является небезызвестный в свое время в нашей стране Пителим Сорокин, белоэмигрант, затем профессор Гарвардского университета.

Я имел возможность ознакомиться с некоторыми программными документами общества. Они представляют в одном отношении бесспорный интерес. В этих документах изложены не только общие, принципиальные установки, определяющие задачи названного общества, но и отражены — довольно ярко и недвусмысленно! — чаяния, запросы, опасения гораздо более широких кругов «западной» интеллигенции. Так что есть смысл остановиться на этих документах несколько подробнее.

В одном из таких программных документов, подписанном генеральным секретарем общества профессором О. Ф. Андерле, говорится, что время, в которое мы живем, ставит задачи, грозящие взорвать существующие рамки наук. Для решения этих задач уже оказываются недостаточными традиционные методы и приемы. Так, например, история, бывшая когда-то преимущественно наукой о прошлом, ныне, включая в себя современность, обращена в значительной мере к будущему. Историк ныне должен дать ответ не толь-

ко на вопросы сегодняшнего дня, но и на вопросы, относящиеся к завтра и послезавтра.

Это обстоятельство обязывает историков, занимавшихся до сих пор, как правило, исследованием сугубо частных и специальных проблем, обратиться к изучению крупных комплексных явлений истории. Под знаком этих требований эпохи социальные и исторические науки все в большей и большей степени ставят в центр своего внимания проблематику великих цивилизаций. Понятие цивилизации — всеобъемлюще; оно выступает сегодня как важнейшее понятие всемирно-исторической системы координат, а изучение, описание и толкование специфических черт цивилизаций — как важнейшая задача гуманитарных наук.

Мы как представители западного мира, говорится далее в программном документе, считаем себя творцами и носителями одной из таких великих цивилизаций. Глубочайшим образом обеспокоенные событиями, которые воспринимаются нами как симптомы ее кризиса, мы все же надеемся, что глубокое научное проникновение в сущность феномена цивилизаций поможет получить ответ на один из самых мучительных и фатальных вопросов жизни нашего поколения. Мы хотим знать, что нас ожидает и что мы должны делать, дабы преодолеть кризис и ввести корабль нашей культуры, нашей цивилизации в более безопасные воды.

В свете этих задач необходимо международное сотрудничество, совместные усилия и коллективная работа ученых, как это давно и с успехом практикуется в области естественных наук. Создание «Интернационального общества сравнительного изучения цивилизаций» и должно решить эту задачу.

Таково содержание одного из программных документов общества. Мне представляется, однако, что основная цель общества изложена в данном документе — и, очевид-

но, не без умысла — недостаточно четко. Если здесь открыто и прямо говорится о тревоге за судьбы «западной цивилизации», то уже гораздо менее определенно ставится вопрос о формах, методах и «инструментах» ее спасения. А сейчас вся «позитивная ценность» проблемы именно в этом. И вот инициаторы создания общества из скромности — а быть может, и из иных соображений — умалчивают о том, что этими своими действиями они пытаются подготовить один из таких «инструментов» спасения гибнущей буржуазной цивилизации.

Я возьму на себя смелость высказаться по поводу невысказанной, но истинной цели создания «Общества сравнительного изучения цивилизаций» и намеченных им мероприятий. Эта цель, на мой взгляд, состоит в утверждении и пропаганде некоей универсальной идеологической системы. Потребность в подобной «системе» давно — и очень настойчиво — подчеркивается многими видными буржуазными философами и социологами, а ее отсутствие расценивается как наиболее уязвимое место, как ахиллесова пята западной цивилизации перед лицом «мирового коммунизма». Таким образом, речь по существу идет об историко-философской (или, как принято теперь иногда говорить, историософской) концепции, которая могла бы противостоять, причем противостоять активно и даже наступательно, марксистско-ленинскому учению об обществе, марксистско-ленинской теории в целом. Вот она — истинная цель новосозданного международного общества, президентом которого оказался Питирим Сорокин.

Но что же это за идеологическая система, которую так срочно пытаются взять на вооружение буржуазные ученые? Существует ли она уже в готовом виде и дело только в ее пропаганде и распространении или ее следует создавать заново?

Для ответа на этот вопрос нам придется вернуться к проблеме «великих цивилизаций», к именам Шпенглера и Тойнби, а заодно и к вопросу, затронутому выше,— о праве советского историка-марксиста обращаться к такому понятию, как «цивилизация».

Да, подобная «универсальная система» существует. Во всяком случае в своих основных чертах. И история ее создания такова.

Еще после первой мировой войны Шпенглер в своем пресловутом «*eroschenmachendes Werk*», где впервые полным голосом был предвозвещен закат «западного мира», дал экспрессионистскими мазками набросок широкой картины истории человечества как картины вырастающих над и рядом друг с другом великих цивилизаций. Эти цивилизации рассматривались им в качестве неких одушевленных сущностей, представляющих собой «*die Urphänomene*» истории. Данная идея, как показал ход дальнейшего развития исторической науки на Западе, была воспринята как чрезвычайно «плодотворная». Но все же пока это была лишь идея, «аспект», отнюдь не «система».

Сам Шпенглер вскоре оказался весьма скомпрометированным благодаря стараниям идеологов немецкого фашизма и расизма поднять его имя на щит. Но и помимо этого «интуитивный метод» Шпенглера, его «априоризм», его профетическая непоследовательность едва ли могли импонировать широким кругам западной интеллигенции и «полуинтеллигенции», т. е. так называемым «средним слоям», роль которых в «духовной» жизни современного буржуазного общества гораздо более велика, чем мы обычно предполагаем: они в значительной мере определяют то, что может быть названо «состоянием умов» на Западе. Вероятно, именно поэтому за Шпенглером утвердилась сомнительная слава философа-иерофанта, философа-жреца.

Но «средние слои» в наше время — во всяком случае если иметь в виду какую-то равнодействующую их духовных запросов — настроены и меркантилистически, и рационалистически. Даже религиозные верования, даже пророческие озарения и предвидения должны в наше время выглядеть по возможности научнообразно, причем по образу и подобию так называемых точных или — на худой конец! — естественных наук. Поэтому для превращения «плодотворной» идеи Шпенглера в широко разработанную и научнообразную систему потребовались определенные условия, потребовался, в частности, «трезвый британский эмпиризм», задача, выполнение которой взял на себя английский историк и бывший директор (в течение ряда лет) Королевского института международных отношений профессор Арнольд Тойнби.

Пожалуй, ни один представитель той отрасли науки, которую мы именуем историей, с момента ее зарождения (т. е. с Геродота!) и до наших дней не пользовался такой славой и признанием, не заслуживал таких восторженных оценок, как Тойнби. Если расположить бесчисленные отзывы его почитателей (а иногда и критиков!) по какой-то шкале в восходящем порядке, то, вероятно, самым скромным будет тот, который квалифицирует историческое учение Тойнби как «наиболее выдающуюся концепцию нашего времени» (И. Фогт). Известный американский социолог Л. Мэмфорд, вообще говоря, критикующий ряд основных положений Тойнби, тем не менее считает, что им «после долгого перерыва создан философский синтез, который по своему значению может быть сопоставлен лишь с трудами Аристотеля и Фомы Аквинского». Но и этого еще мало! Тойнби сопоставляют также с Коперником, Ньютоном, Дарвином, а «сравнительный метод исследования», введенный им в историческую науку, — с открытием квантовой механики. В особую



заслугу ставится Тойнби то, что он якобы покончил с идеей «континуального», т. е. непрерывного и прогрессивного, развития человечества, «доказав», что это развитие осуществляется путем прерывных квантообразных толчков энергии. В этом смысле законы, которые действуют в человеческом обществе, пытаются сблизить — это ведь и модно, и научно! — с законами, действующими внутри атома. Вот каков он, переворот в исторической науке, произведенный Тойнби!

Основной труд Арнольда Тойнби «A Study of History» («Исследование истории») состоит из двенадцати внушительных томов, содержащих более 7000 страниц текста. Шесть первых томов вышли в свет до второй мировой войны, остальные — после нее. Один из последователей Тойнби — Сомервелл — с согласия и одобрения своего учителя выпустил сокращенное (в двух томах) изложение этого грандиозного труда. Изложение Сомервелла, к удивлению самих издателей, оказалось одним из самых бойких бестселлеров и разошлось в сотнях тысяч экземпляров как в Европе, так и в Америке. Рядовой читатель на Западе, представитель «средних слоев» населения, вотировал таким образом свое признание Тойнби. Это признание, сочетавшееся, как обычно, с шумной рекламой, и принесло последнему мировую славу.

Так что же это, наконец, за учение, что за «универсальная система», на которую возлагается столько разнообразных надежд и упований? Как она выглядит, хотя бы в самых общих чертах?

В основе исторической концепции Тойнби лежит понятие «общества» или «цивилизации». Общество, которое, с одной стороны, является «сферой взаимодействия отдельных индивидуумов», а с другой — эквивалентом «цивилизации» (между этими понятиями Тойнби решительно ставит знак равенства), есть наименьшая историческая единица, доступная

для изучения (intelligible field of study). История человечества — история ряда цивилизаций. Тойнби насчитывает всего 21 цивилизацию (у Шпенглера их было только восемь!), кроме «неудавшихся», или, как он их называет, abortивных и окаменевших. Итак, нет единой истории человечества, есть плюралистическая история отдельных цивилизаций.

Эти отдельные цивилизации отнюдь не располагаются по единой и последовательно восходящей линии. Данное утверждение Тойнби вызывает, кстати сказать, особый восторг его почитателей. Они считают — как, например, Р. Кайуа, — что таким путем Тойнби «счастливо кладет конец гегелевской наивности, т. е. идее линейного развития истории, а следовательно (1), и неотвратимости рока». Далее, из учения Тойнби вытекает, что цивилизации, поскольку они не расположены по единой линии, могут лишь «соприкасаться» во времени или пространстве. Только этим и обусловлена преемственность в развитии мировой культуры. Сущность же каждой цивилизации глубоко специфична и совершенно несхожа со всеми остальными. Подводя итог этим своим рассуждениям, Тойнби говорит: «Вместо схемы истории в виде ствола я решил изобразить ее в виде дерева, на котором цивилизации вырастают подобно ветвям, рядом друг с другом».

Но если отдельные цивилизации по самой своей сущности глубоко различны, то все же есть нечто, что их роднит и придает им общие черты, подобно тому как этими чертами обладают виды в естественных науках. Поскольку все человеческие цивилизации существуют в общей сложности всего 5—6 тысяч лет и поскольку этот исторический срок ничтожно мал (около 2%) по сравнению со временем существования человечества на земле (Тойнби считает — около 300 тысяч лет) и совсем уже является мимолетным мгновением по сравнению с теми 2 миллиардами лет, кото-

рые (по вычислениям Джинса!) суждено прожить человеческому роду, нет никакого смысла размещать известные нам цивилизации по какой-то последовательно восходящей линии; гораздо правильнее признать их одновременными и равноценными. «Поэтому мы можем утверждать,— пишет Тойнби,— что все наши цивилизации предположительно являются в философском смысле современными и эквивалентными».

Подобный подход к проблематике цивилизаций делает возможным использование сравнительного метода изучения. А использование сравнительного метода позволяет в свою очередь установить и вывести эмпирическим путем некие общие законы, обязательные для всех цивилизаций, несмотря на их специфику. Причем знание этих законов помогает не только понять прошлое, но и предвидеть будущее тех цивилизаций, которые еще не завершили своего «жизненного пути».

Тойнби устанавливает следующие непреложные стадии внутреннего развития каждой цивилизации: зарождение, рост, надлом (breakdown), разложение и гибель. Понятие прогресса иллюзорно; различные цивилизации в своем круговороте бесконечно повторяют друг друга, причем каждая из них проходит за время своего жизненного пути через все упомянутые стадии. В наше время сохранились и существуют всего лишь пять цивилизаций: дальневосточная, индийская, ислам, восточнохристианская (с ее «русской ветвью») и западнохристианская. Четыре первых уже прошли через свой брейкдаун и, следовательно, находятся на ущербе, и только последняя, т. е. западнохристианская, сохранила, по выражению Тойнби, «божественную искру творческой мысли».

Каковы же движущие силы внутреннего развития той или иной цивилизации? Этот важнейший для каждого

историка вопрос решается довольно своеобразно. Тойнби считает, что силы, определяющие зарождение, рост и гибель обществ-цивилизаций, отнюдь не «детерминированы имманентными законами развития», но зависят от самой человеческой деятельности. «Человек,— пишет Тойнби,— не может жить вне общества, но историю творит не общество, а индивидуальность». Это положение Тойнби также с особым удовлетворением принимается буржуазными историками и социологами. Таким образом, уверяют они, человек провозглашается «делателем» своей судьбы (*fabrum esse quemque fortunae!*), человек признается одновременно и субъектом и объектом истории!

История обществ-цивилизаций в изображении Тойнби развивается по схеме: вызов — ответ (*challenge — response*). Вызов «бросается» тому или иному обществу внешней средой, внешними условиями, будь то природные условия или давление соседних народов, или воздействие предшествующей цивилизации. Общество должно найти ответ на брошенный ему вызов. Но этот ответ находит отнюдь не общество в целом, а лишь его отдельные, наиболее выдающиеся представители, «творческое меньшинство», которое обладает «жизненной силой» (*élan vital* — понятие, идущее еще от Бергсона!) и которое потому может вести за собой «инертное большинство», находящееся на весьма низком уровне развития. Это «инертное большинство» трактуется Тойнби весьма презрительно; оно способно лишь к *mimesis*, т. е. к подражанию, что является «одним из наименее возвышенных свойств человеческой природы».

Пока большинство, массы добровольно следуют за «творческим меньшинством», в обществе царит гармония. Но в какой-то момент происходит трагическая ошибка: «творческое меньшинство» дает неправильный ответ на особо важный вызов. В результате наступает брейкдаун, надлом.

Брейкдаун вызывается сугубо внутренними причинами и, вообще говоря, вовсе не обязателен. Это ошибка, которая совершена свободными в своем выборе людьми. Однако все существовавшие до сих пор цивилизации прошли через этот надлом.

При брейкдауне гармония общества нарушается, «творческое меньшинство» вынуждено прибегнуть к силе. Начинается длительный период разложения. Его характеризуют смуты, внешние и внутренние (т. е. гражданские) войны, революции. Это не означает, что общество на данной ступени развития уже не способно переживать отдельные моменты подъема, даже процветания, но оно обречено, оно, в конечном счете, неуклонно движется к своей гибели. Создается «внутренний пролетариат». Под этим термином Тойнби — весьма своеобразно — разумеет те «социальные элементы или группы, которые пребывают в данном обществе и вместе с тем как бы вне его», другими словами, всех тех, кто лишь «физически» включен в общество, но не является его равноправным членом, кто состоит в оппозиции к «творческому меньшинству». Это последнее вынуждено перейти к политике насилия и вовне, т. е. по отношению к странам и народам, находящимся в сфере влияния — или, как говорит Тойнби, радиации — данного общества. В результате возникает «внешний пролетариат», который уже начинает угрожать самому существованию цивилизации.

Весь этот длительный период смут и потрясений приводит в итоге к тому, что появляется некий завоеватель, покоряющий силой оружия все страны и народы, включенные в сферу воздействия данной цивилизации. Он основывает «универсальное государство». Пролетариат же (сначала «внутренний», а затем и «внешний»!) создает «универсальную церковь», которая приходит на смену «универсальному государству». Эта «универсальная церковь» — и только она! —

оказывается преемницей культурного наследия умирающей цивилизации и вместе с тем посредствующим звеном между нею и цивилизацией последующей («дочерней»).

Такова в основных своих чертах концепция всемирной истории Тойнби, или та «универсальная» идеологическая система, на долю которой в «западном мире» выпали столь шумный успех и признание. Мне кажется, что советскому историку, да и вообще любому советскому читателю, не так легко будет понять истинные причины этого успеха. Чем, в самом деле, объяснить, что изложенная выше — и, с непредубежденной точки зрения, во многом сомнительная и легко уязвимая — концепция могла с такой завидной легкостью завоевать умы «западной» интеллигенции, чем объяснить столь неумеренные и небывало пышные славословия по адресу ее создателя? Попытаемся ответить на этот вопрос.

Историко-философская концепция Тойнби, взятая в целом (не будем останавливаться на частностях!), безусловно обладает рядом интересных и по-своему привлекательных черт. Поэтому историк — даже если он стоит на совсем иных, диаметрально противоположных позициях — не должен отмахиваться от нее походя. Огромный исторический труд Тойнби написан в некоторых своих разделах с подлинным вдохновением. Не случайно один из самых решительных его критиков признает, что Тойнби «написал удивительную поэму-мистерию, в которой выступает огромное число действующих лиц: бог и сатана, Христос и святые, боги и божки всех религий, герои и сверхчеловеки всех времен и народов и еще какие-то странные символические фигуры во вкусе второй части «Фауста» Гёте». Причем эта «удивительная поэма-мистерия» — добавлю уже от себя — обильно уснащена примерами «потрясающей» эрудиции, наукообразными выводами и максимами «трезвого британского эмпиризма»,

что, как уже было отмечено выше, не может не imponировать определенному — и довольно широкому! — кругу читателей.

Тойнби безусловно выступает против агностицизма в истории, он признает закономерности общественного развития, он ищет и «открывает» их, разумеется, в духе своих общих воззрений.

Привлекательным представляется и то, что Тойнби как будто решительно ополчается против европоцентристских установок. Он называет их «проявлением эгоцентризма и провинциализма» в исторической науке, он восстает против «иллюзии о неизменности Востока». И, наконец, Тойнби — ярый враг расизма, чистота рас, с его точки зрения, — «вздорный миф».

Но этим пожалуй, и исчерпываются «привлекательные» черты концепции Тойнби. Более того, некоторые из них на проверку оказываются лишь декларативными утверждениями. В целом же всемирно-историческая концепция Тойнби глубоко несостоятельна.

Едва ли есть смысл подробно распространяться на тему о том, что она представляет собой насквозь идеалистическое построение. Недаром Ж. Мадоль, один из критиков Тойнби, подчеркивает, что в его концепции «биологизм сочетается с идеализмом, даже с мистикой», а Л. Мэмфорд основным пороком историко-философских воззрений Тойнби считает дуализм: противопоставление мира физического миру духовному (без сомнения, в пользу последнего!). Все это настолько очевидно, настолько «органично» и закономерно, что это скорее «не порок, а несчастье» и упрекать Тойнби в идеализме почти так же бессмысленно, как упрекать его в том, что он англичанин, а скажем, не француз. Но дело даже не в упреках подобного рода! Если на мгновение принять «систему» Тойнби, как таковую (с ее аппа-

ратом», ее фразеологией!), то и тогда она оказывается весьма уязвимой, причем в своих основных, опорных пунктах.

Прежде всего это лишь квазиконцепция всемирной истории. Несмотря на то, что Тойнби говорит о 21 мировой цивилизации, что он утверждает их эквивалентность и равноценность, что он, на словах, ополчается против европоцентризма, его концепция на деле есть не что иное, как концепция или схема истории «западного мира». И если под все его рассуждения о брейкдауне, о внутреннем и внешнем «пролетариате», об универсальном государстве и сменяющей его универсальной церкви как-то можно еще «подогнать» историю Западной Европы, т. е. смену «эллинской» (греко-римской) цивилизации цивилизацией «западнохристианской», то уж никак не историю Индии, Китая, Египта и т. п. История этих стран, этих обществ просто-напросто не укладывается в схему Тойнби.

Эта «приспособленность» концепции Тойнби к истории античного мира и зарождению христианской церкви давно уже была отмечена некоторыми из его критиков. Да и сам Тойнби довольно откровенно объявляет «эллинскую» цивилизацию «образцом для сравнения» со всеми остальными. Вот, кстати говоря, почему в результате своей поездки в Грецию я и вспомнил — вовсе не случайно! — о «цивилизациях», как таковых, и о концепции Тойнби в частности. Но это лишь означает, что Тойнби, хоть он и предает европоцентризм анафеме, по существу оказывается вполне последовательным европоцентристом и (говоря его же словами!) «провинциальным» историком, а его всемирно-историческая концепция — ловко закамуфлированной схемой все той же западноевропейской истории.

И, наконец, внутренняя несостоятельность концепции Тойнби заключается в том, что она представляет собой уче-



ние, в котором почти начисто отсутствуют какие-либо творчески-гносеологические моменты. Это учение можно принимать, скорее в него можно верить, но бесспорно одно: это учение ничего не доказывает и ничего не объясняет. Что является причиной зарождения первоначальных цивилизаций? Почему наступает (или не наступает) брейкдаун? Что такое *élan vital* творческого меньшинства? Чем обусловлен круговорот и смена цивилизаций? Ни на один из этих вопросов Тойнби не дает вразумительного ответа, и в конечном счете зарождение цивилизаций, явление брейкдауна, *élan vital* и пр.— все это рассматривается как некое чудо, как «Чудо, путем которого Жизнь (Тойнби любит писать слова с прописной буквы!) входит в свое царство» или как движение от Бога—своего источника, к Богу—своей цели.

Поэтому в смысле научно-познавательного значения концепция Тойнби для меня в лучшем случае равноценна давно известной схеме истории человечества, с которой ее и закономерно сопоставить: каменный век—бронзовый век—железный век. Эта последняя лишь констатирует (и, кстати сказать, более правильно!) определенные этапы в развитии человеческого общества, но по существу, как и концепция Тойнби, абсолютно ничего не объясняет.

Мне кажется, что сам Тойнби сознает эту роковую слабость созданной им историософской «системы», ибо ищет выхода и «объяснения» там, где их обычно ищут все те, кто ощущает свою внутреннюю несостоятельность,—в религии, в боге. Но тут уж едва ли есть смысл и спорить! Сошлюсь лучше на остроумное замечание Мэмфорда по поводу роли религии и церкви в «A Study of History»: «Не воздвиг ли Тойнби эту колоссальную историческую пирамиду угрожающих размеров ради того, чтобы лучше спрятать в ее наиболее укромном помещении архаическую мумию, которая,

однако, едва ли способна воскреснуть, как этого требует его диагноз». Некоторые другие критики Тойнби считают, что «колоссальная историческая пирамида» является как бы «библией от Тойнби», причем первые шесть томов «Исследования истории» соответствуют Ветхому, а последующие — Новому Завету. Сам же Тойнби — новоявленный мессия, основатель и провозвестник новой религии или, вернее, церкви. И как знать, если для нас, марксистски мыслящих историков, в этом состоит основное и наиболее наглядное доказательство внутренней слабости всей «системы» Тойнби, то, быть может, в этом же секрет ее феноменального успеха на Западе! Ибо она, эта «система», представляет собой не что иное, как своеобразную — и к тому же наукообразную — религиозную доктрину.

В заключение еще один вопрос, из-за которого, собственно говоря, и было начато все это, не в меру затянувшееся рассуждение. Имеет ли право историк-марксист оперировать понятием «цивилизация»? Приемлемо ли оно для нас? Имел ли право, в частности, я, подводя итоги своей поездки в Грецию, говорить о зрелище смены цивилизаций?

Безусловно, да! Зачем, во имя чего отказываться от столь давно известного и устоявшегося понятия? Кстати, им достаточно широко пользовались классики марксизма-ленинизма. Но, конечно, они вкладывали в это понятие совсем иной смысл и содержание, чем Шпенглер или Тойнби.

Я думаю, что правильное решение вопроса заключается в следующем. Мы не должны чураться понятия «цивилизация», но и не должны его абсолютизировать. Оно совпадает для нас с представлением о том или ином историко-культурном комплексе или, говоря иными словами, о степени развития материальной культуры и духовной жизни данного общества.

«Цивилизация» — отнюдь не генерализующее, не мировоззренческое понятие. Таковым для нас является понятие социально-экономической формации. Оно, кстати сказать, и конструируется — чего не отрицают даже те, кто его в принципе не приемлет, — как понятие гносеологическое, «объясняющее».

Каково же истинное соотношение между двумя названными понятиями? «Цивилизация» — понятие частное, подчиненное. Соотношение же между «формацией» и «цивилизацией» есть соотношение между аргументом и его функцией. Эта зависимость сохраняется и в том случае, когда мы говорим о смене ряда цивилизаций в пределах одной социально-экономической формации и когда мы имеем в виду «растянутость» той или иной цивилизации (например, «европейской») на несколько формаций. Только при соблюдении этого условия возможна правильная оценка исторической роли «великих цивилизаций». И только в этом плане я говорил об ахейской, эллинской и европейской цивилизациях, о зрелище их смены и гибели — зрелище, которое столь ярко открылось передо мною в Греции.

Ну что же, мое путешествие действительно теперь можно считать оконченным. Оно окончено вторично, ибо я снова пережил его, приводя хоть в какой-то относительный порядок те мысли и впечатления, которые были навеяны поездкой и которыми мне хотелось поделиться с читателем. Каков же итог этих наблюдений?

Я уже не раз говорил о том, что наибольшее впечатление произвела на меня картина смены цивилизаций. Я разъяснил свое отношение к понятию «цивилизация», в отличие от того значения, которое ему придается в «историософской» концепции Тойнби. Но из увиденного мною и поразившего меня зрелища можно сделать лишь один вывод: это зрелище учит нас, что путь, пройденный человечеством

за эти тысячелетия, как бы он ни был тяжел, прихотлив и извилист, отнюдь не замкнутый и бесцельный круговорот обреченных на гибель цивилизаций (делающий, как полагает Тойнби, иллюзорным самое понятие прогресса), а именно непрерывный путь человеческого развития — от начальных, примитивных форм общественного бытия к самому высокому и справедливому устройству общества.

Таков общий итог мыслей и впечатлений, почерпнутых во время путешествия в Грецию.

1961 — 62 гг.



ПОМПЕИ  
ГОРОД  
ВЕЧНОЙ  
ЖИЗНИ



Города — как люди, как книги — имеют свою судьбу. Есть на свете города, которые заслуженно гордятся своей многовековой историей или, наоборот, своей современностью, своим многолюдством, темпами жизни или своим уютом и тишиной, своей архитектурой, своими памятниками, но я не знаю, пожалуй, ни одного другого города с такой поистине «уникальной» судьбой, с таким необыкновенным прошлым и еще более необыкновенным настоящим, как этот маленький южный и, казалось бы, ничем не примечательный городок.

Я пробыл в Неаполе недолго, всего шесть дней, но за эти дни я четыре раза ездил в Помпеи. В одном отношении мне не повезло. Только один день, из проведенных мной в Неаполе, обошелся без дождя. Но в этот день я был на Капри.

Поездка в Помпеи — это своего рода путешествие в машине времени. Оно обычно начиналось так. Рано утром я шел на маленький вокзал *Ferrovia circumvesuviana* и прежде всего делал то, что делает в начале трудового (или бездельного) дня каждый итальянец: выпивал чашечку лучшего в мире — так считает каждый итальянец (и действительно великолепного) — кофе. Людный вокзал, глоток кофе — это, конечно, двадцатый век. В вагоне электрички тоже царило наше столетие — было шумно, тесно, женщины курили, мужчины ели апельсины, лимоны, причем корки бросали прямо за окно, даже тогда, когда поезд еще стоял у перрона. Тут впервые я заметил, что итальянцы часто едят лимоны целиком, с кожурой. Насчет апельсинов не скажу, этого не

видал. Хотя народу в поезде было много, на моей станции почти никто не сходил; Помпеи интересовали, видно, только туристов, а их сезон еще не начался.

В Помпеях — я имею в виду современные Помпеи, жилую часть города — я сразу оказывался перенесенным по крайней мере в прошлое столетие. Уютный городок. Двухэтажные дома. Сонные извозчики на вокзальной площади. И каждый раз — дождь, увы, не южный, бурный, а мелкий, холодный, надоедливый дождь.

Помню, как я пробирался под этим бесконечным дождем от вокзала к территории раскопок и, если дождь припускал сильнее, прятался в какую-нибудь подвернувшуюся тратторию, где заказывал себе спагетти. Хозяин даже и не спрашивал меня, буду ли я пить вино, — это для него разумелось само собой, — он только спрашивал: *bianco o rosso?* — и приносил графинчик с вином, графинчик, который у них, в Италии, называется квартой, что в общем соответствует нашему более ласковому понятию «четвертинка».

Дождь на какое-то время переставал, в разрывах облаков начинало сквозить чистое небо. Сразу становилось жарко, даже душно: от земли, пропитавшейся влагой многодневных дождей, подымался пар. Но это были только кратковременные перерывы, погода по-настоящему так и не разгулялась.

Через *Porta Marina* (а иногда через *Porta di Sarno*) я вступал на территорию древних Помпей и вот здесь я уже оказывался не в прошлом столетии, а прямо у рубежа нашей эры. Я попадал в другой мир. Поначалу мне был страшен и — скажу прямо — даже не очень приятен переход от шума, блеска, живой и жаркой суеты Неаполя или даже от провинциального уюта современных Помпей к торжественной тишине мертвого города. Но — удивительное дело — стоило мне побывать в Помпеях еще и еще раз, стоило

побродить одному, без всяких гидов, по этим пустым улицам и площадям, как вдруг я невольно стал ловить себя уже на том ощущении, что мне, пожалуй, не менее странно возвращаться в Неаполь, входить в комнату своей современной гостиницы, включать электрическое освещение, видеть на постели приготовленную на ночь пижаму. Я начал вживаться в этот «мертвый» город и он ожил во мне.



Как же все это произошло? Как случилось, что этот некогда цветущий многолюдный город был погребен под землей на многие и многие века, почти исчез из памяти людей, а затем снова возродился к новой и, быть может, еще более необычной жизни и судьбе, чем в самую счастливую пору своего существования?

Это произошло без малого девятнадцать столетий назад — 24 августа 79 г. н. э. В этот памятный день Везувий, который уже в те времена считался давно потухшим вулканом, внезапно ожил: сначала над ним поднялось огромное облако, напоминавшее по своей форме пинию с широко раскинувшимися ветвями, затем началось сильное землетрясение, во время которого из кратера вулкана стала извергаться масса раскаленных камней и пепла. Три небольших, но цветущих и оживленных города южной Италии, расположенные поблизости от вулкана, — Помпеи, Геркуланум и Стабии — исчезли с лица земли. Они были целиком погребены под этим ливнем из камней и вулканического пепла.

До нас дошел рассказ одного из современников и даже свидетелей страшной катастрофы. Во время извержения Везувия погиб выдающийся римский ученый Плиний Старший. Через несколько лет его племянник Плиний Младший, вид-



ный государственный деятель в правление императора Траяна, по просьбе римского историка Тацита, подробно описал трагические события, очевидцем которых он был. Во время извержения вулкана он вместе со своей матерью (Плинию Младшему шел тогда восемнадцатый год) находился в городе Мизене, расположенном в 25 км от Везувия.

Вот некоторые отрывки из его описания, где он рассказывает о том, что ему пришлось пережить в Мизене, хотя этот город, по сравнению с Помпеями или Геркуланумом, пострадал не очень сильно. «...Был уже первый час дня: день стоял сумрачный, словно обессилевший. Здания вокруг сотрясались; мы были на открытом месте, но в темноте, и было очень страшно, что они рухнут. Тогда, наконец, решились мы выйти из города; за нами шла потрясенная толпа, которая предпочитает чужое решение своему: в ужасе ей это кажется подобием благоразумия. Огромное количество людей теснило нас и толкало вперед. Выйдя за город, мы остановились. Тут случилось с нами много диковинного и много ужасного. Повозки, которые мы распорядились отправить вперед, на совершенно ровном месте кидало из стороны в сторону, хотя их и подпирали камнями. Мы видели, как море втягивается в себя; земля, сотрясаясь, как бы отталкивала его прочь. Берег выдвигался вперед; много морских животных осталось лежать на песке. В огромной и черной грозовой туче вспыхивали и перебегали огненные зигзаги, и она раскалывалась длинными полосами пламени, похожими на молнии, но только небывалой величины».

«...Немного спустя эта туча стала спускаться на землю, покрыла море, опоясала Капреи (Капри) и скрыла их, унесла из виду мизенский мыс... Стал падать пепел, пока еще редкий; оглянувшись, я увидел, как на нас надвигается густой мрак, который, подобно потоку, разливался вслед за нами по земле. «Свернем,— сказал я,— пока еще видно, чтобы

на дороге нас не растоптали в потемках наши же спутники». Едва мы приняли такое решение, как наступила темнота, но не такая, как в безлунную или облачную ночь, а какая бывает в закрытом помещении, когда тушат огонь. Слышны были женские вопли, детский писк и крики мужчин: одни звали родителей, другие детей, третьи жен или мужей, силясь распознать их по голосам; одни оплакивали свою гибель, другие гибель своих близких; некоторые в страхе перед смертью молились о смерти; многие воздевали руки к богам, но большинство утверждало, что богов больше нет и что для мира настала последняя вечная ночь... Чуть-чуть посветлело; нам показалось, однако, что это не рассвет, а приближающийся огонь. Огонь остановился вдали, вновь наступила темнота, пепел посыпался частым тяжелым дождем. Мы все время вставали и стряхивали его, иначе нас накрыло бы им и раздавило под его тяжестью. ...Мрак, наконец, стал рассеиваться, превращаясь как бы в дым или туман; скоро настал настоящий день и даже блеснуло солнце, но желтоватое и тусклое, как при затмении. Глазам еще трепетавших людей все представилось резко изменившимся; все было засыпано, словно снегом, глубоким пеплом...»

Таково описание страшных событий, оставленное нам их очевидцем. Плиний Младший рассказал о судьбе Мизена, города, который хоть и пострадал, но все же уцелел. В других местах картина была еще более безрадостной. Геркуланум вовсе исчез с лица земли, на месте Помпей только кое-где торчали из-под пепла верхушки зданий. Прошли годы и десятилетия; вулканический пепел, покрывший погребенные города, оказался чрезвычайно плодородной почвой. Здесь зазеленели виноградники, раскинулись фруктовые сады, и в скором времени никто уже не мог точно указать то место, где некогда находился хоть и небольшой, но богатый и полный жизни город Помпеи.



Помпеи пролежали под слоем земли и пепла почти 17 столетий. Впервые на остатки погребенного города наткнулись совершенно случайно еще в XVI в., когда в долине реки Сарно шли инженерные работы по сооружению водотливногo канала. Однако никому тогда не пришло в голову, что землекопы работают на территории Помпей, хотя их судьба, конечно, была известна.

Более или менее систематические раскопки Помпей начались только с 1748 г. (позже, чем Геркуланума). Однако сто с лишним лет эти раскопки велись ненаучно, без определенного плана, весьма кустарным и даже хищническим образом. Дома раскапывались кое-как; мрамор, бронзу, мозаику похищали и продавали в частные руки, в лучшем случае мозаичные полы, расколотые на куски, отправляли в мешках или корзинах в Неаполитанский музей. Это было не научное исследование, а настоящее «кладоискательство»; каждый, кто проводил в то время раскопки в Помпеях, стремился прежде всего найти какое-нибудь выдающееся произведение искусства и вообще сделать какое-нибудь сенсационное «открытие». Но тем не менее погребенный город возрождался к новой жизни.

Перелом произошел лишь в 60-х годах прошлого столетия. Он связан с именем крупного итальянского археолога Джузеппе Фиорелли. Начав планомерные работы на территории погибшего города, Фиорелли имел смелость утверждать, что для науки, для изучения Помпей, богатые дома или виллы, полные произведений искусства, и жалкие домишки бедняков имеют одинаковую ценность. Он говорил, что самое интересное и важное в Помпеях — это сами Помпеи. Поэтому Фиорелли наметил определенный план раскопок, целью которых было не открытие отдельных зданий или

памятников, но восстановление целых улиц и даже кварталов города. <sup>1</sup>

К началу первой мировой войны было раскопано больше половины территории Помпей. Война, конечно, прервала эту работу. Но после ее окончания раскопки возобновились (они получили название «новых раскопок»). Замечательной особенностью этих «новых раскопок» было стремление восстановить вновь открытые здания в том виде, в котором те существовали до катастрофы. По следам археологов шли реставраторы; они укрепляли стены зданий, чинили крыши, восстанавливали штукатурку и т. п. Если раньше наиболее ценные художественные произведения, обнаруженные при раскопках, отправляли в музеи, то теперь их стали оставлять на месте для воссоздания, по возможности, цельной картины. Таким путем были восстановлены не только отдельные здания, но целые улицы и кварталы Помпей.

Вот, например, одна из главных улиц древнего города — *Via dell'Abbondanza* (Дорога изобилия). Она названа так, видимо, потому, что это была наиболее оживленная торговая и деловая артерия Помпей. Улица пересекает территорию города с востока к западу и по ней можно пройти буквально через весь город, из одного конца в другой. Так как *Via dell'Abbondanza* начали раскапывать уже во всеоружии новой техники, то она ныне предстает перед нами в замечательной сохранности. Почти всюду уцелели верхние этажи домов (что при более ранних раскопках было почти исключено), над фасадами выступают балконы и галереи, входные двери лавок и домов сохраняют свои бронзовые украшения, на внутренних, а иногда и на внешних стенах зданий видна декоративная роспись.

Если по *Via dell'Abbondanza* идти от *Porta di Sarno* (т. е. пересекать город с востока к западу), то сразу же за воротами, по левую руку, расположено одно из наиболее

грандиозных сооружений древних Помпей — Амфитеатр. Он, конечно, уступает по своим размерам Колизею, но зато построен раньше его и вообще считается самым древним из всех известных нам римских амфитеатров. Стоит подняться по наружной лестнице на стену амфитеатра или пройти в его верхние ряды — оттуда открывается вид почти на весь город.

Немного западнее Амфитеатра, почти рядом с ним, находится так называемая Большая Палестра (раскопки начаты в 1936 г.).— Это — место гимнастических упражнений помпейской молодежи и, если угодно, своеобразный клуб, где назначались встречи, свидания, велись беседы. С трех сторон Палестра окружена колоннадой, посредине — большой плавательный бассейн. Палестра великолепно сохранилась.

Форум Помпей занимает большую прямоугольную площадь в юго-западной части города, недалеко от Porta Marina (Морских ворот). Эта площадь была окружена со всех сторон общественными зданиями и колоннадой. По общим своим пропорциям и архитектурным формам она чем-то напоминает знаменитую площадь святого Марка в Венеции. В глубине ее также находился храм, это был храм Юпитера, ныне лежащий в развалинах. Да и остальные общественные здания Форума (наиболее интересны в архитектурном отношении: Базилика, так называемый дом Евмахии, храм Аполлона) сохранились плохо и на меня гораздо большее впечатление произвел прелестный, маленький Forum Triangulare (Треугольный Форум), расположенный к тому же на холме, с которого открывается великолепный вид на Везувий.

На склоне этого холма находится Большой театр (примерно на 5000 мест) с интересным квадропортиком, который служил для отдыха и прогулок зрителей, а при Нероне был превращен в казарму для гладиаторов. Здесь же

неподалеку здание Малого театра — Одеона (на 1500 мест), где давались музыкальные представления и пантомима. В отличие от других театральных зданий, Одеон был крытым зданием (т. е. имел крышу). Знатоки считают его одним из «наиболее гармоничных образцов древней театральной архитектуры».

Из частных домов и вилл, раскопанных до второй мировой войны, наиболее знамениты — главным образом своими стенными росписями, мозаикой, скульптурными произведениями — вилла Мистерий, вилла Диомеда, дом трагического поэта (его описал в своем известном романе «Последние дни Помпей» Э. Булвер-Литтон), дом Веттиев, дом Фавна, дом Менандра и т. п. Не берусь их сейчас описывать — это было бы слишком сложно, да и, наверное, утомительно — скажу лучше несколько слов о новейших раскопках.

Вторая мировая война нанесла тяжелые увечья восстановленному городу. Он не раз подвергался бомбардировкам, во время которых пострадали Большой театр, некоторые частные здания и торговый квартал Помпей. Раскопки во время войны, конечно, были прерваны и возобновлены только в 1951 г. («новейшие раскопки»). Они ведутся и в настоящее время (считают, что ныне вскрыто примерно  $\frac{3}{5}$  всей территории Помпей).

Основная цель новейших раскопок — вскрытие целого района древнего города, расположенного к югу от Via dell' Abbondanza и простирающегося от театров (на западе) до Амфитеатра (на востоке). Кроме того, работы ныне ведутся и за чертой города, в районе раскопанных в 1954 г. Porta Nuceria (Нуцерийских ворот), где находится обширный некрополь.

Из частных домов, раскопанных за последние годы, пожалуй, наиболее интересны дом фруктощика, дом Венеры, вилла Юлии Фелицы.

В доме фруктовщика — великолепные образцы стеной декоративной живописи так называемого третьего стиля (египетские влияния). Интересно, что среди самых разнообразных фруктовых деревьев, изображенных на стенах, видны также и лимонные деревья. Как известно, эта культура в I в. н. э. считалась в Кампании чрезвычайно редкой. В стеновых росписях дома фруктовщика встречается голубой фон, что весьма необычно для Помпей.

Дом Венеры — большое, богато отделанное жилище, как можно установить по некоторым признакам, перестраивавшееся к моменту извержения Везувия. В ряде помещений сохранилась стенная роспись; в одном из них — большая, открытая в 1952 г. картина, которая изображает Венеру, плывущую в раковине в сопровождении двух амуров.

Но самым интересным памятником этого района Помпей археологи считают виллу Юлии Фелицы, которая представляет собой комплекс жилых, хозяйственных и торговых помещений. Она занимает большую территорию. Вилла эта впервые была вскрыта еще в середине XVIII в., многие предметы искусства, найденные в ней, вывезены в различные музеи, а затем — поскольку раскопки в то время, как уже говорилось, велись самым кустарным способом — здание было снова засыпано землей и раскопано окончательно только сравнительно недавно.

В состав виллы входит жилое помещение с портиком, рядом комнат и прекрасным садом. Кроме того, на территории виллы находились наиболее крупные и наиболее богатые в Помпеях частные бани. Они были построены со всем доступным в те времена комфортом и, очевидно, открыты для общего пользования. И, наконец, в состав виллы входили комнаты, сдававшиеся в наем, и даже торговые помещения.

Много интересных находок дали раскопки за чертой города, т. е. вне городских стен. Они ведутся в двух направлениях: от Морских ворот до Греческого храма и от Стабийских ворот до Амфитеатра. Здесь приходится удалять большие массы земли, образовавшиеся за многие десятилетия предыдущих раскопок (землю раньше ссыпали за черту городских стен). Наиболее выдающееся открытие последних лет в этом районе Помпей — уже упоминавшийся некрополь, который тянется вдоль древней Нуцерийской дороги. Открытые здесь могильные памятники чрезвычайно разнообразны по своим формам. Некоторые из них представляют собой камеры с нишами и сводами, другие построены в виде алтарей или в форме капелл и мавзолеев. Датировка этих памятников не представляет особых затруднений — все они относятся к последним десятилетиям существования Римской республики или к начальному периоду империи.

Из надгробных памятников этого некрополя отметим гробницу городской жрицы Евмахии (она нами упоминалась, и о ней речь еще будет впереди). Гробница представляет собой полукруглое сооружение, причем по обеим сторонам полукружия расположены надгробия в форме капелл; в левой капелле сохранились две сидящие фигуры, в правой — остатки четырех колонн и три статуи. Таким образом, это, очевидно, фамильная усыпальница.

Можно еще упомянуть надгробный памятник рода Тиллиев, представители которого играли заметную роль в политической жизни города и занимали высшие магистратуры, а также надгробие вольноотпущенника П. Везовия Филерона и круглый мавзолей в честь Н. Агрестина Пульхра, со оруженный его женой. Раскопки в районе некрополя продолжаются и в настоящее время, и можно не сомневаться, что они еще дадут много нового и ценного материала.



Что же касается того, как считают некоторые, при-  
скорбного факта, что раскопки последних лет в Помпеях не  
дали каких-то «сенсационных» открытий, то, собственно го-  
воря, современное направление работ таково, что археоло-  
ги вовсе и не стремятся к подобным сенсациям; они заняты  
выполнением гораздо более сложной и ответственной зада-  
чи — восстановлением целых районов города, по возможно-  
сти, в том самом виде, в каком они существовали до зна-  
менитой катастрофы 79 г. Это направление археологических  
работ, поддерживаемое и развиваемое со времен Фиорел-  
ли вплоть до наших дней, привело к огромным научным ре-  
зультатам. Мы можем теперь восстановить облик этого ита-  
лийского города первых лет нашей эры в таких деталях и  
подробностях, которые еще сравнительно недавно не были  
известны ни историкам, ни археологам. «Мертвый» город  
Помпеи способен поведать нам о жизни древнего мира го-  
раздо больше, чем десятки томов ученых трактатов.



Извержение Везувия, погубившее Помпеи, произошло в  
правление императора Тита Флавия Веспасиана, известного  
еще тем, что он взял и разрушил Иерусалим (во время  
Иудейской войны). Тит, наследовавший своему отцу Веспа-  
сиану, был вторым императором из династии Флавиев. Годы  
правления этой династии — вторая половина I в. н. э. — на-  
чало расцвета Римской империи.

Огромная держава — современники называли ее миро-  
вой — включала в свой состав, кроме Италии, все крупней-  
шие страны и государства Средиземноморья: Испанию, Гал-  
лию (т. е. территорию современной Франции, Бельгии и  
Швейцарии), Грецию, Македонию, государства Малой Азии,

Сирию и Палестину, Египет и т. д. Кроме того, в это время римское владычество уже распространялось на Британию и значительную часть территории Германии. Все эти подчиненные Римом страны были превращены в так называемые провинции, управлялись римской администрацией, население этих стран облагалось налогами и податями.

Одной из наиболее примечательных черт социального строя Римской империи I в. н. э. было развитие городской жизни. Росли и ширились старые города, возникали новые. Среди этих новых городов выделялись поселения римских солдат, ветеранов римской армии. Развитие городской жизни в свою очередь было тесно связано с ростом ремесла и торговли. В различных городах возникали крупные объединения (коллегии) ремесленников и купцов, которые нередко контролировали хозяйственную жизнь целых областей, даже стран. Из Испании вывозились металлы и продукты сельского хозяйства. Из Галлии — полотно, металлические изделия, художественная керамика.

Пожалуй, в еще более широких масштабах была развита торговля в Восточных провинциях Римской империи — Малой Азии, Сирии. Сюда из Аравии и далекой Индии стекались различные товары, главным образом предметы роскоши: драгоценности, благовония, шелка. Несколько позже, во II в. н. э., римские купцы сумели установить торговые связи даже с Китаем. Такие крупные центры ремесла и посреднической торговли, как Александрия в Египте, Антиохия, Дамаск, Лаодикея в Сирии, имели общеимперское значение.

На этом фоне Помпеи играли, конечно, довольно скромную роль. Это был небольшой и в общем ничем особенно не примечательный город. Но именно это обстоятельство делает его для нас в значительной степени типичным. То, что нам теперь известно относительно Помпей, может, с некоторыми небольшими поправками на местные особенно-

сти, характеризовать быт и нравы других небольших городов Римской империи.

Накануне рокового дня, ставшего для них последним, Помпеи были оживленным, цветущим городом, насчитывавшим около 30 тыс. жителей. Центром и средоточием всей городской жизни — как политической, так и хозяйственно-деловой — был Форум. В то время он выглядел очень величественно: с севера его замыкал храм Юпитера, по обеим сторонам которого высились триумфальные арки, с юга — здание Городского совета. Вдоль западной стороны Форума тянулась ограда храма Аполлона, на противоположной, восточной, стороне находилось знаменитое здание, лучше всех других сохранившееся до наших дней. Это — здание биржи, построенное богатой помпеянской, городской жрицей Евмахией (мы о нем уже упоминали). С той же восточной стороны к Форуму примыкали торговые ряды. В южной части площади, на углу с улицей, которую мы теперь называем *Via dell'Abbondanza*, находился Комиций, т. е. то место, где собиралось народное собрание. Кроме того, Форум был заполнен статуями и памятниками, воздвигнутыми в честь римских императоров или знатных граждан самих Помпей.

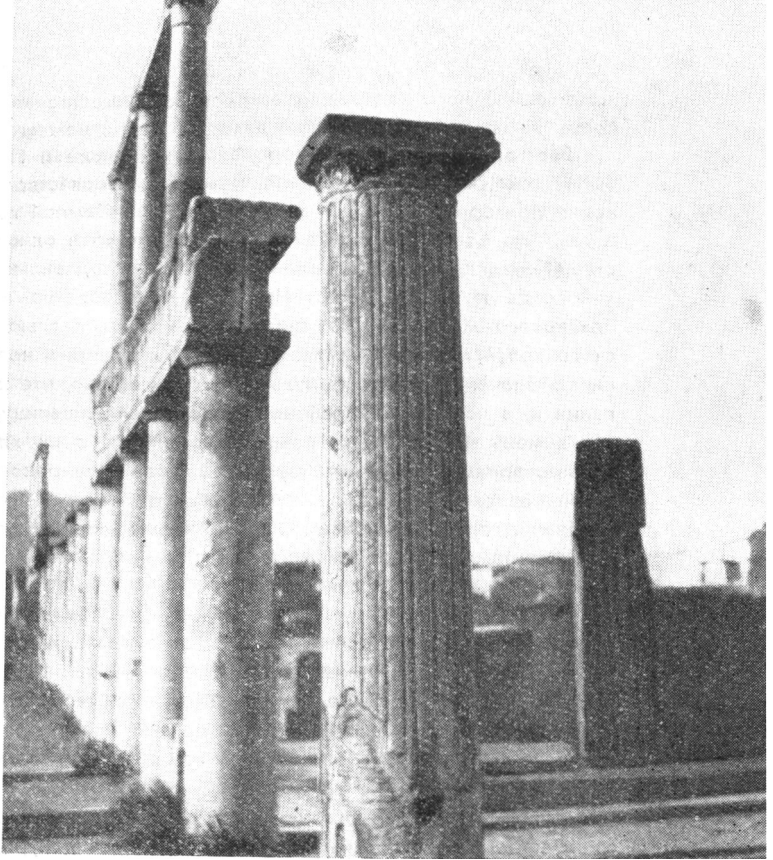
На этой центральной площади города жизнь кипела с раннего утра и до вечера. По праздничным дням здесь устраивались гладиаторские бои и другие зрелища, в будни это была рыночная площадь и излюбленное место для встреч и прогулок. Найденные в одном из помпеянских домов фрески живо изображают бытовые сцены, разыгрывавшиеся на Форуме: примерку обуви в сапожной мастерской, торговлю хлебом, фруктами и горячей пищей, лавку медника и даже занятия в школе, причем часть детей под наблюдением учителя читает вслух, а одного из учеников здесь же секут розгами. Это педагогическое средство в древности

считалось универсальным, недаром один из римских поэтов называл розгу «скипетром учителей».

Ремесло и торговля в Помпеях были развиты очень широко. Особенно процветала шерстяная, сукновальная промышленность. При раскопках обнаружено много сукновальных мастерских. Помпейские шерстяные ткажи расходились по всей Кампании и даже соседним областям. Здание Евмахии на Форуме было именно биржей сукновалов; здесь заключались торговые сделки, проводились аукционы.

Помпеи сами себя снабжали хлебом. Поэтому здесь была развита и такая отрасль промышленности, как хлебопечение. При раскопках обнаружено около 40 пекарен. Это, как правило, небольшие здания, в которых помещалась не только сама хлебопекарня, но и мельница, а часто даже хлебная лавка. Зерно мололи вручную, только в тех случаях, если мельница была очень велика, вращать жернова представляли животных (мулов, ослов). Помпеянская хлебная печь до известной степени напоминает нашу старинную деревенскую русскую печь. В Помпеях, как, впрочем, и во всей остальной Италии, пекли только пшеничный хлеб. Работа в хлебопекарнях была крайне тяжелой: жара, мучная пыль, темное помещение — все это превращало труд пекарей и мукомолов в настоящую каторгу. Недаром провинившихся рабов в качестве наказания отсылали работать на мельницы.

В Помпеях была довольно широко развита еще одна своеобразная отрасль промышленности — изготовление рыбного соуса «гарум», который славился на всю Италию. Его изготавливали из макрели или скумбрии; в Помпеях существовало несколько предприятий, целиком специализировавшихся на изготовлении этого соуса. До нас даже дошли имена владельцев таких предприятий — все это были богатые и видные люди в Помпеях, дела их процветали. Недаром,



ПОМПЕИ. КОЛОННАДА НА ФОРУМЕ

по словам одного из древних авторов, не существовало жидкости, за исключением редких духов, дороже, чем «гарум».

Все древнеиталийские города, в том числе и Помпеи, были тесно связаны с деревней, с сельским хозяйством. Раскопки пригородных вилл и усадеб в районе Помпей говорят о том, что здесь было развито виноградарство и оливководство. Почти в каждой из вилл мы встречаем давяльную для винограда и маслодельню. Но, хотя производство вина и оливкового масла можно считать главной отраслью сельского хозяйства всей Кампании, было бы неверно недооценивать значение зерновых культур. Нам известно, что в Кампании и, в частности, в районе Помпей сеяли пшеницу, просо, ячмень. Кроме того, помпейские виллы, с их хлевами и сыроварнями, свидетельствуют о довольно широком развитии овцеводства. Таким образом, окрестные усадьбы снабжали город почти всем необходимым: зерном, овощами, фруктами, оливковым маслом, вином, и, наконец, шерстью для помпейских сукновален.

Помпеи, как и другие италийские (и провинциальные) города, пользовались внутренним самоуправлением. Оно сложилось давно, еще во времена республики, и было как бы копией — конечно, в миниатюре — римского государственного устройства. Основные органы самоуправления Помпей сохранились без особых изменений и в период империи.

В Помпеях этими органами самоуправления был Городской совет (сенат), члены которого назывались декурионами, и выборные должностные лица: дуумвиры и эдилы. Дуумвиры (они соответствовали римским консулам) были высшими должностными лицами, председательствовавшими в Городском совете и народном собрании, эдилы ведали вопросами городского благоустройства, а также организацией игр и зрелищ.

Выборы должностных лиц (магистратов) происходили ежегодно в марте. Желая выставить свою кандидатуру на любую выборную должность обязан был лично заявить об этом дуумвирам. Кандидат должен был удовлетворять следующим условиям: происходить от свободных родителей, иметь права гражданства, обладать незапятнанной репутацией. Кроме того, подразумевалось, что кандидат должен обладать определенным (и не малым!) состоянием, ибо все выборные должности считались почетными и не оплачивались. Наоборот, выполнение обязанностей дуумвира или эдила часто было связано с крупными расходами. Но зато отправление этих должностей давало и почет, и власть.

В Помпеях накануне выборов развевалась оживленная агитация. Стены домов покрывались надписями — многие из них сохранились до нашего времени, — посвященные выдвижению кандидатов. Эти надписи необыкновенно разнообразны. Иногда кандидатов выдвигали или поддерживали коллеги, иногда просто соседи, иногда члены той или иной знатной семьи и, наконец, отдельные лица. Встречаются надписи юмористические, ругательные, стихотворные, нередко на кандидатов рисовались карикатуры. Вот некоторые помпейские избирательные надписи, красовавшиеся на стенах домов и дожившие до нашего времени:

«Все ювелиры предлагают в эдилы Куспия Пансу». «Днионсий, сукновал, вольноотпущенник, просит вас выбрать эдилом Луция Попилия».

«Если честная жизнь на пользу людям бывает,  
То Лукреций Фронтон чести достоин вполне».

«Прокул, выбери Сабина эдилом, и он тебя выберет». «Соседи, проснитесь и голосуйте за Амплиата». «Прошу тебя, Лорей, выбери в дуумвиры Цейя Секунда, и он тебя выберет». «Требий, проснись, выбирай».

Эта предвыборная борьба и агитация довольно ярко отражают картину резкого социального и имущественного расслоения, которая была характерна для Помпей, причем и в этом отношении они были миниатюрной копией Рима. Нам хорошо известны имена представителей помпеянской знати или помпеянских богачей, живших в роскошных домах, наполненных произведениями искусства, имевших великолепные загородные виллы, нередко объединявшие в себе дом городского типа с деревенской усадьбой. Среди этих богачей попадались и «нувориши» (*homines novi*), как презрительно называли их представители старинных фамилий, т. е. разбогатевшие торговцы, владельцы мастерских, вольноотпущенники. Имена некоторых из них нам тоже известны. Например, в помпеянских надписях неоднократно упоминается богатый отпущенник Цецилий Юкунд. Он вел крупные дела: арендовал у города сукновальню и пастбище, ссужал деньги под проценты, проводил аукционы и т. п.

Наряду с этим огромную массу населения Помпей составляли рабочий люд, бедняки и рабы, которые были вынуждены с утра до поздней ночи трудиться на мельницах, в хлебопекарнях или сукновальных мастерских, на строительстве зданий или на тяжелых сельскохозяйственных работах в пригородных виллах.

Положение рабов в Помпеях, как и во всей Римской империи, было неодинаковым. Те рабы, которые составляли многочисленную прислугу знатных господ, богачей, находились в привилегированном положении. Особенно ценились искусные повара, рабыни-танцовщицы и образованные рабы, которые нередко использовались в качестве секретарей, домашних учителей, врачей и т. п. Иногда доверенные рабы своих господ — управляющие имениями или мастерскими — богатели, выкупались на волю, получали права гражданства,



а их сыновья — даже доступ к высоким государственным должностям.

Но, конечно, рабов, находившихся в таком положении, было ничтожное меньшинство. Основная масса рабов жила и трудилась в невыносимых условиях. Рабов, занятых в сельском хозяйстве, нередко выгоняли на работу в кандалах; в каждом большом поместье была специальная рабская тюрьма (эргастул). Помещения, в которых содержались рабы (в этом можно убедиться на примере пригородных помпеянских вилл), представляют собой жалкие каморки, расположенные всегда таким образом, что рабы и во время сна находились под бдительным оком надсмотрщика.

Такова в общих чертах картина былой жизни Помпей. Все конкретные и живые детали этой картины стали нам известны благодаря самим Помпеям, т. е., точнее говоря, благодаря тем раскопкам, которые вот уже двести с лишним лет ведутся на территории древнего города.



И вот, я снова брожу по улицам Помпей. Но теперь я брожу по этим улицам с каким-то особым чувством, не как турист, любопытный посетитель, все время жаждущий увидеть что-то непременно новое, но скорее как старый знакомец, который уже прекрасно знает, что ждет его вот за этим углом или за тем поворотом, знает, по какой дороге пройти, скажем, к Треугольному Форуму и какой оттуда вид на Везувий, который, не торопясь, заглядывает, заходит в знакомые дома или отдыхает, сидя под колоннами Большой Палестры; в общем как человек, который хочет вновь пережить и даже как-то осмыслить нечто уже виденное, знакомое. Это — качественно иное ощущение.

Я уже говорил о том, что в какой-то неуловимый момент произошло поистине чудесное превращение и этот мертвый город вдруг ожил во мне. Но, увы, я не обладаю мощным воображением профессионального литератора и потому, когда я говорю, что город ожил во мне, это отнюдь не следует понимать в том смысле, что я, предположим, живо представил себе — как это особенно любят делать авторы исторических романов — Форум, заполненный шумной и говорливой толпой, или вдруг мне почудилось, что вот сейчас кто-то из живших здесь некогда людей выйдет из соседнего дома и заговорит со мной. Нет, сухое и скудное воображение историка повело меня по совсем иному пути.

Помпеи ожили для меня в том смысле, что я понял, вернее, ощутил их продолжающееся, непрерывное бытие. Помпеи — город вечной жизни. Помпеи — лучшее и наиболее убедительное доказательство того, что в истории человеческого общества — как, кстати сказать, и в природе — ничто не умирает, не исчезает бесследно. Даже то, что представляется нам исчезнувшим навеки, сгинувшим без следа, в каком-то ином качестве, в какой-то иной форме или воплощении, неизбежно продолжает свое бытие и будет продолжать его до тех пор, пока только существует человечество. И это нечто, что кажется нам бесследно исчезнувшим, может вдруг снова предстать пред нами зримо и реально, как ныне предстали погребенные, казалось бы, навсегда Помпеи, может и не предстать, но это не важно; важно лишь то, что все прошлое в этом смысле входит в настоящее, как все настоящее входит в будущее.

Отсюда — осязаемая нить к постижению закономерностей истории. Отсюда — твердая уверенность в том (интересно, что эта уверенность родилась у меня не столько от чтения книг, не «лабораторно-кабинетным» путем, а как

естественное ощущение именно здесь, в Помпеях), что любое историческое явление, исторический факт не есть нечто единичное и потому в своей единичности неповторимое, что история не есть, следовательно, хаос, скопление «единичностей» или случайностей, но некий направленный процесс, знающий свои закономерности, т. е. процесс не только «индивидуализирующий», но и «генерализирующий».

Но что такое исторический факт? Как его осмыслить? Какова, выражаясь философски, его гносеологическая природа? Или, говоря иными словами, познаваем он или нет? Это ведь не такой простой вопрос, и вовсе не мало было потрачено усилий и чернил буржуазными историками, философами, социологами, чтобы доказать в более или менее явной (т. е. более открыто или более завуалированно) форме непознаваемость исторического факта, явления. А отсюда — вывод о непознаваемости истории вообще или, во всяком случае, отрицание ее закономерностей.

Я глубоко уверен, что любая форма агностицизма в истории генетически восходит к представлению о единичности, неповторимости, а следовательно, и «неуловимости» (что, конечно, равносильно непознаваемости) исторического факта. Как известно, утверждения подобного рода далеко не новы. Они идут еще от неокантианцев, от Риккерта, который в свое время прямо заявлял, что понятие исторического закона есть не что иное, как *contradictio in adjecto*. Но эти взгляды живы и сейчас. Более того, они объединяют всех противников материалистического понимания истории. Представители таких по существу различных философских и социологических направлений, как К. Ясперс, Т. Довринг, Ф. Мейнеке, в данном случае с трогательным единодушием утверждают, что «история в ее индивидуальности есть нечто совершенно неповторимое», что суть историзма — в замене генерализирующего рассмотрения индивидуализирующим,

что исторические события «неповторимы и потому ничему не учат».

Обычно, когда марксистски мыслящие историки и философы вступают в полемику с экзистенциалистами и неопозитивистами — апологетами непознаваемости истории,— они противопоставляют их утверждениям такие доводы, как повторяемость явлений в истории, как принцип отбора фактов, подтверждающих действительность той или иной закономерности, и т. п. Все это, несомненно, правильно, но наиболее решительную борьбу с агностицизмом в истории следует, на мой взгляд, вести прежде всего на почве самого понятия «исторический факт».

По моему глубокому убеждению, понятие исторического факта в принципе непримиримо с представлением об единичности, неповторимости явлений. Ибо, что есть исторический факт? Это — не просто факт, не вообще факт, но факт в его развитии. Но что значит факт в его развитии? Только то, что некий факт становится историческим в его связях, в его отношении к другим фактам. Вне связей нет ни фактов истории, ни самой истории. Утверждения типа: «Цезарь был убит 15 марта 44 г. н. э.» или «Французская буржуазная революция произошла в 1789 г.», в том случае если больше ничего не говорится, если не сказано ни слова о том, что предшествовало этим событиям и что последовало за ними (в результате этих событий!), не могут быть еще расценены как утверждения об исторических фактах. Это — лишь констатация фактов как таковых, но в этой констатации, как и в препарированных таким путем фактах, нет еще ни грана историзма. История — не расписание поездов, не каталог художественной выставки и даже не программа телевизионных передач. И суть историзма вовсе не в замене «генерализирующего» рассмотрения «индивидуализирующим», но именно в рассмотрении факта

в развитии, т. е. в его сопоставлении с другими фактами, в его связях и опосредствованиях. Только при таких условиях «голый» факт (факт как таковой) приобретает какой-то исторический смысл и значимость, только так он и может быть введен в сферу истории. Следовательно, только такая «экзистенция» исторического факта в сонме ему подобных, только такие связи, соотношения делают его и стабильным («вечным»), и повторимым, и, наконец, познаваемым. В свою очередь только такое понимание гносеологической природы исторического факта логически приводит нас к признанию закономерностей исторического процесса.

Вот каковы были мои размышления в Помпеях о жизни, о «вечности», о закономерностях истории. Размышляя о таких высоких сюжетах, обращаясь мысленно то к прошлому, то к настоящему (ничего не поделаешь, и место, и профессия — все к тому обязывало!), я не мог удержаться от искушения и не сделать попытки осмыслить для себя еще одно понятие, хотя оно тоже принадлежит — и, пожалуй, в большей степени — к кругу «высоких» или, скорее, «отвлеченных» понятий. Я имею в виду понятие времени.

В самом деле, что такое время для историка? Вопрос звучит невинно, быть может даже несколько наивно, но я совсем не уверен, что на него так легко и просто дать вразумительный ответ.

Еще Платон говорил, что «время есть движущийся образ вечности». Однако это скорее красивая метафора, которая мало что объясняет по существу. Для Канта время, как и пространство, было лишь априорной формой сознания. В классической механике от Ньютона и до начала XX в. господствовало понятие абсолютного времени (и пространства). Но в нашем столетии вследствие того революционного переворота, который произошел в «классических» представлениях о физической картине мира — я имею в виду прежде

всего теорию относительности, квантовую механику и т. п.,— изменилось самое понятие времени. Что же, это изменение касается только физиков, математиков, философов или на него должны как-то реагировать и историки?

Надо сказать прямо, что историки не так уж часто интересовались проблемой времени. Быть может это объясняется тем, что время для историка— всегда нечто уже данное, безусловное, нечто незримо присутствующее и само собой разумеющееся в любом историческом построении. Но такой подход к понятию времени приводил на деле к парадоксальному положению. Он приводил к тому, что это «незримо присутствующее» и «безусловно подразумеваемое» время фактически переставало быть ощутимым, исчезало, как бы выносилось за скобки. К сожалению, я знаю очень немного исторических работ, где фактор времени зримо выступал бы и ощущался как фактор исторически действенный.

Не только в конкретных исследованиях, но и в историко-философских концепциях проблеме времени не «повезло», она всерьез не разрабатывалась. Иначе, чем объяснить, что даже в начале нашего века были возможны такие наивно-мистические «медитации», как, скажем, Шпенглерово противопоставление пространства и времени. «Пространство есть понятие. Время есть слово, служащее для обозначения чего-то непонятного; слово, которое совершенно ложно толкуют, если подвергают его как понятие научной трактовке». И как общий вывод из этой посылки — отождествление времени с судьбой; время— не понятие, не измерение, но нечто «внутренне достоверное», т. е. сама судьба: «собственное, судьба, время— суть заменяющие друг друга слова».

Все это, конечно, нельзя даже принимать всерьез. Попытка вывести понятие времени за пределы науки

и подменить понятие ощущением или, еще точнее, мистическим «вживанием» никого в наше время — думаю, вплоть до экзистенциалистов и неопозитивистов — устроить не может. Понятие времени для историка должно быть не менее научным, чем для физика, математика, философа. Но должно ли оно быть точно таким же?

В гносеологическом аспекте пространство и время — суть формы движения (существования) материи. Это общее, принципиальное положение в равной мере действительно как для физики или философии, так и для истории. Но, исходя из него, физик, философ, историк имеют право оперировать понятием времени, выражая его в терминах и константах своей науки.

Что скажет о времени современный физик? Прежде всего он скажет, что время неотделимо от пространства и что как одно, так и другое неразрывно связано с движущейся материей, что нет пространства самого по себе и времени самого по себе (как то признавала «классическая» механика), что вне движущейся материи — это лишь пустые абстракции. Поэтому физика оперирует ныне понятием четырехмерного пространственно-временного континуума Эйнштейна — Минковского. Как пишет Г. Рейхенбах в своей известной работе «Направление времени»: «три измерения пространства и одно измерение времени составляют четыре оси этого континуума, а физические события представлены в виде «мировых линий», подобно линиям на диаграммах. Настоящее время является лишь поперечным сечением этой диаграммы, и совершенно безразлично, где мы его нанесем. Оно является лишь точкой отсчета, подобно году, с которого мы ведем счет нашей эры». Таким образом, и расстояние, и временной промежуток могут иметь определенное значение лишь по отношению к определенной системе отсчета. Но в этом и заключается с позиции современных

представлений о физической картине мира относительность времени.

Мне могут сказать, что историк практически никогда не сталкивается с подобными представлениями и, в частности, с представлением об относительности времени. И что поэтому время историка — совсем не то время, что время физика. Такой взгляд не нов, имеет некоторые основания и его распространяли не только на историков. Так, сравнительно недавно В. И. Вернадский писал: «Время натуралиста не есть геометрическое время Минковского и не время механики и теоретической физики, химии, Галилея или Ньютона».

И все-таки я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что здесь налицо некоторое недоразумение. Я сторонник того взгляда, что в принципе время физика, натуралиста, философа, историка — одно и то же время. Но историк (и, как правило, натуралист) не имеет ни нужды, ни возможности «использовать» категорию времени во всем ее «масштабе». Историк, в отличие от философа и физика, всегда имеет дело лишь с одной определенной системой отсчета. Вот почему он действительно не сталкивается с представлением об относительности времени.

Но это лишь «частный случай». С другой стороны, существует одно представление, теснейшим образом связанное с самим понятием времени и вместе с тем одинаково важное, даже необходимое как для физика, так и для историка. Это представление о направленности времени.

Физик (или философ) в терминах и понятиях своей науки интерпретирует это представление следующим образом. Время, в отличие от пространства, обладает не только порядком, но и направлением. Оно течет всегда в одном направлении — от прошлого, через настоящее к будущему. Время бесконечно, и в этой бесконечности по существу



выражается бесконечность развития материи. Однонаправленность времени определяют необратимые процессы; они же определяют и однонаправленную причинность. Кстати, еще Лейбниц в свое время говорил, что отличие причины от следствия равносильно отличию прошлого от будущего.

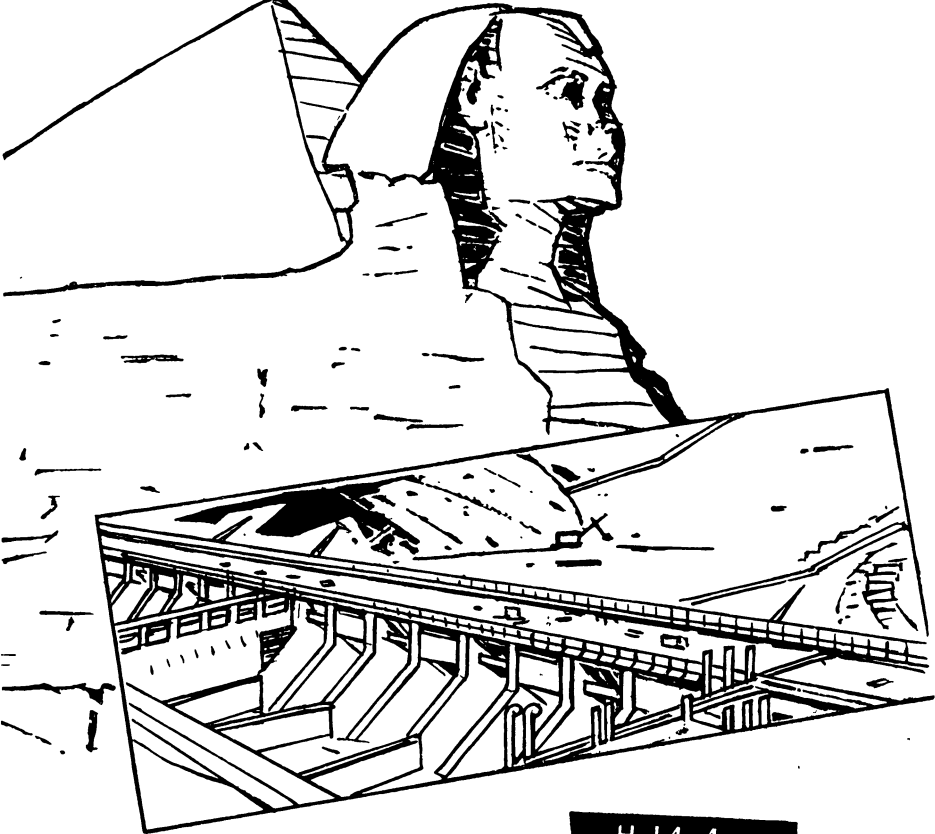
Для историка время тоже всегда однонаправленно, всегда течет от прошедшего к будущему. Но из этого утверждения следуют по меньшей мере два чрезвычайно существенных вывода. Во-первых — понимание категории причинности в истории, что подводит нас с несколько иной стороны к вопросу, которого мы уже касались, т. е. к вопросу о закономерностях исторического процесса. Но для историка-марксиста этот вопрос ясен. Во-вторых — представление о поступательном характере развития, что может служить сильнейшим аргументом против циклических схем и построений.

Я уверен, что все циклические теории в исторической науке — от древнейших и вплоть до современных, от Полибия до Тойнби — в конечном счете зиждутся на устаревших ныне представлениях о физической картине мира. Для древнегреческих философов и математиков картина мира представлялась следующим образом: в небесных сферах, где царят гармония и высший порядок, планеты движутся по круговым или эпициклическим орбитам потому, что круг — наиболее совершенная кривая. Переход к гелиоцентрическим воззрениям в этом смысле ничего не изменил. Механика Галилея и Ньютона продолжала представлять — лишь в более «рационалистических» формулировках и дефинициях — все мироздание в виде гигантского, раз и навсегда пущенного в ход часового механизма, где все явления, естественно, совершаются по кругу. Время и пространство в этой соблазнительно стройной картине мироздания существовали «сами по себе», т. е. имели абсолютное значение.

Такова, на мой взгляд, гносеологическая подоплека циклических построений и в исторической науке. Только на подобной основе могла возникнуть такая, например, преисполненная пренебрежения к понятию направления времени концепция, как известное утверждение Тойнби об «одновременности и эквивалентности» всех цивилизаций.

Но в связи с глубоким переворотом в области физики и естествознания, который мы пережили, да еще продолжаем переживать и ныне, представление о движении по кругу как о наиболее «совершенной» форме движения должно быть оставлено. В естественных науках его заменили более адекватным современным представлениям о развитии образом летящей в одном направлении «стрелы времени», а в последнее время, учитывая непрерывное нарастание темпов, говорят о замене и этого образа, считая, что «развитие лучше сравнивать с начальным периодом полета космической ракеты, ступенчато увеличивающей свою скорость».

Мне кажется, что все сказанное выше дает нам право перенести эти естественнонаучные представления в сферу истории. Итак, понятие времени для историка в принципе общо с понятием времени для физика. И тот, и другой признают односторонность его направления, и тот, и другой констатируют поступательный характер процессов развития. Но тогда для историка отсюда единственный и главный вывод: на его «материале», в его терминах и понятиях эта форма односторонне направленного, поступательного движения должна совпадать — и, несомненно, совпадает — с понятием, без которого вся история человечества превращается в пустую и злобную бессмыслицу, — с понятием прогресса.



НИИ  
ТЕЧЕТ  
ОТ  
ПИРАМИД  
ДО  
АСУАНА

## I

Вспоминать о человеке, событии или переживании можно когда угодно, если это делать для себя. Но если хочешь написать про то, о чем вспоминаешь,— совсем другое дело. В таких случаях надо соблюсти какой-то срок, выждать, пока образуется хотя бы некоторый «пафос расстояния». Не следует браться за перо ни слишком рано, ни слишком поздно.

Я был в Египте около года назад. Срок вполне достаточный, чтобы иметь право «вспоминать». Конечно, свежесть впечатлений несколько поблекла, кое-что забылось, но то, о чем помнишь,— отстоялось, память произвела отбор. Отбор — великое дело. Это первый шаг на пути к тому, что мы называем искусством. Кстати сказать, моими сотоварищами по поездке в Египет было снято три фильма. Два из них оказались не очень удачными, третий удался. И вот, когда я смотрел этот третий фильм, то поймал себя на странном ощущении: фильм произвел на меня впечатление чуть ли не более сильное, чем самая поездка. Очевидно, потому, что из нерасчлененного потока впечатлений что-то оказалось удачно отобранным, сконцентрированным, а что-то отброшенным. Вступил в действие регулятор отбора, а потому и самое восприятие обострилось. Если припомнить те образные сравнения, которым меня учили в свое время в армии (на занятиях по тактике), то всегда говорилось так: не следует наносить удар растопыренными пальцами, надо бить кулаком. Всякое впечатление или переживание есть некий «удар» (в смысле своего психологического воздействия). Но

жизнь бьет нас — и это еще наше счастье! — растопыренной пятерней, искусство же — и в этом его сила — кулаком.

Однако едла ли стоит начинать с отступлений. Поэтому перейдем к основному сюжету. Но и теперь речь еще не об Египте, поскольку до Египта была поездка морем на «Феликсе Дзержинском». А маршрут «Феликса Дзержинского» говорит сам за себя: Одесса — Констанца — Варна — Стамбул — Пирей — Александрия — Фамагуста — Латакия — Бейрут. Этот маршрут был мне знаком, точнее говоря, знаком в пределах первой своей половины, т. е. до Пирея включительно. Но на сей раз и в этих пределах многое оказалось для меня новым и неожиданным.

Взять хотя бы Одессу. Кое у кого до сих пор существует о ней представление, основанное на чисто литературных реминисценциях. Для таких людей Одесса — это орнаментальная Одесса Бабеля, романтическая — Багрицкого. И они, эти люди, бывают очень огорчены, когда выясняется, что все не так. Их тянет на одесскую экзотику — если не на Беню Крика, то хотя бы на одесский «колорит». А ничего этого в общем в Одессе давно уже нет. И жалеть, что все это исчезло, по-моему, то же самое, что жалеть о языке знаменитых московских просвирен, которым в свое время так восхищался Пушкин. Но зато Одесса сберегла все милые черты южного города — праздничную сутолоку улиц, почти варварское великолепие и красочность базаров, обязательное вечернее гулянье по Дерибасовской, копченую скумбрию. Она-то, скумбрия, и есть в наше время, я пожалуй, единственная специфика Одессы, все остальное мало чем отличает ее от других южных городов.

Но на сей раз я заметил в Одессе нечто новое. Какую-то особую и, казалось бы, не свойственную этому городу лиричность. Наверное, это потому, что я впервые попал в Одессу поздней осенью, в конце сентября.

Непривычно пустой, как будто даже поредевший Приморский бульвар. Воздух пронзительно чист; свежо, прозрачно, между сучьев сквозит, начинает играть на солнце редкая паутина. Небо белесовато-голубое, словно выцветшее за время летней жары, и такое же море, далеко видное до горизонта. Я выхожу к Польскому спуску, пройдя мимо домов, где клетки с птицами выставлены в раскрытых окнах, а иногда и прямо на улице. Я стою у каменной ограды Польского спуска и смотрю на море, на круто сбегające вниз путаные улочки, на развешанное по веревкам белье. Но, нет, это неверно — хоть и может показаться с первого взгляда, — что Одесса похожа на Неаполь; не может быть там такой прозрачности, такой печали, такой неотразимой прелести увядания. Там воздух слишком густ, там не бывает этих оттенков, пастельных полутонов, которые так неожиданно роднят Одессу с нашим русским Севером.

На Польском спуске есть маленький деревянный, всегда свежеекрашенный дом, в одно или два окна. Я давно завидую тому, кто живет в этом доме, и не раз хотел позвонить у дверей, узнать, кто здесь живет, быть может, спросить о чем-то или просто пожелать всего хорошего, но у меня никогда не хватало на это смелости.

Первая стоянка после Одессы — Констанца. Здесь я бывал неоднократно и потому ходил на берег, признаюсь, без большой охоты. И оказался кругом неправ. Город заметно вырос и изменился. Появились новые кварталы. Новый вокзал, новые дома легкой, приятной архитектуры, цветные прозрачные перегородки нарядных балконов.

Потом нас повезли в Мамай. Это — курорт; я тоже бывал здесь. Но и его я не узнал. Оказывается, за последние два года выстроили совершенно новый курорт ультрасовременного вида. Вид необычный. Я даже не уверен, понравился ли мне новый Мамай, во всяком случае это было интересно.



НА БЕРЕГУ БОСФОРА

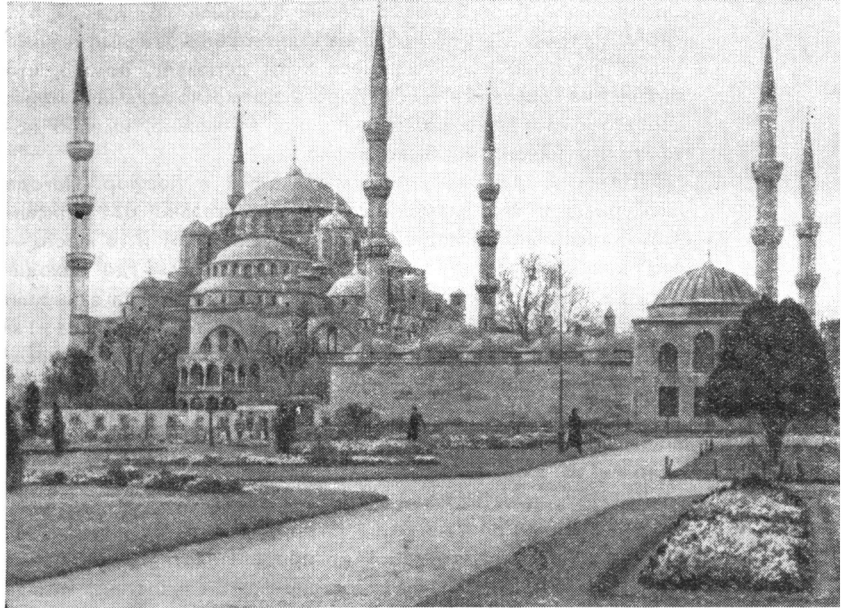
Представьте себе, что на плоском, открытом, лишенном почти всякой растительности морском берегу построено восемнадцать огромных многоэтажных отелей (к примеру, Парк-отель — 15 этажей). Архитектура, конечно, самая современная; материал — бетон и стекло. Здесь же целый городок, состоящий из плоских одноэтажных зданий, тоже сплошь застекленных и похожих на выставочные павильоны. В них помещаются кафе, магазины, ателье. Витрины оформлены великолепно.

Интересен летний открытый театр — своеобразный вариант античного театра, решенного средствами и приемами современной архитектуры. Стены облицованы цветной керамической плиткой; это выглядит декоративно.

Все вместе взятое, несомненно, производит впечатление. И, как уже сказано, довольно необычное. Ощущение необычности усиливается еще тем, что, поскольку сезон окончился, во всех этих роскошных отелях — ни души. Кафе и рестораны закрыты, магазины не торгуют. Что же это такое? Не город, да и не курорт, не поймешь что. Пожалуй, удачнее всего определил впечатление, производимое Мамаем, один из моих сотоварищей по поездке, сказав: «Черт побери, ведь это какой-то космический курорт!» И действительно, можно представить себе, что в том сравнительно недалеком будущем, когда космические рейсы станут проводиться регулярно и по расписанию (кстати, не всем известно, что первоначальное значение слова космос — порядок), на каких-либо планетах или их спутниках будут построены пересадочные станции с отелями, магазинами и даже кинотеатрами при космодромах. Вот они, вероятно, и будут выглядеть так, как этот курорт — новый Мамай.

О Варне мне на сей раз почти нечего сказать, так как наш «Феликс Дзержинский» пришел туда поздним вечером. Правда, и здесь нас повезли автобусом на знаменитый





**АЙЯ-СОФИЯ**

болгарский курорт Золотые пески. В отличие от Мамая, тут много зелени. Но я помню лишь какие-то бесконечные темные аллеи, внезапно надвигающиеся купы деревьев, помню, что справа, на протяжении всей дороги, дремотно вздыхало море; все это было даже романтично, но, возможно, именно поэтому, что ничего не было видно.

Назавтра ранним утром мы входим в Босфор. Погода пасмурная, и его знаменитые берега, столько раз описанные и воспетые, выглядят довольно тускло. Вот и то место — его, конечно, всегда указывают по-разному,— где находились не менее знаменитые цепи, которыми некогда запирали Босфор, вот — Золотой Рог и знакомая стенка причала у Галатского моста. Скучное здание таможни, которое не веселит даже открытая терраса ресторана на верхнем этаже.

В Стамбуле я в третий раз, но всегда только проездом, на несколько часов. Туристам же здесь показывают обычно одно и то же: Айя-Софию, Голубую мечеть, Ипподром, а в Галате — Истикляль и площадь Таксим со зданием Оперы. (Кстати, почему во всех городах мира здание Оперы, даже если оно ничего собой не представляет, тем не менее считается одной из главных достопримечательностей?) И хоть я теперь знаю, как попасть во все эти примечательные места — могу даже пройти пешком и не заплутаюсь,— город все же по-настоящему мне незнаком. Как-то лишь раз мне удалось побродить одному, без всяких гидов, по тем его улицам, где никогда не водят туристов. Я спускался к набережной, к району Галатского моста, с одного из семи холмов, на которых, как и его предшественник Рим, расположен город. Это были какие-то задворки, кривые непроезжие улочки со ступеньками, базары под открытым небом, жалкие кофейни, толпы оборванных, но веселых нищих. Все это, конечно, гораздо интереснее, чем показательные части города, но я не могу сказать, чтобы эта прогулка помогла мне понять

Стамбул. Он в какой-то степени и теперь остается для меня загадкой. Стамбул, бесспорно, не европейский город, это ясно. Но он не похож и на город восточный. А его историческая судьба? Как она извилиста и прихотлива! Какие взлеты и падения, какие упущенные возможности и неоправдавшиеся надежды!

Более ста лет назад Флобер в одном из своих писем (опубликованном сравнительно недавно) писал, что город произвел на него потрясающее впечатление и что он понимает Фурье, который считал, что Константинополь достоин быть столицей мира. История, как известно, не оправдала этот прогноз. Стамбул даже оказался недостойн остаться столицей Турции. Ошибки и заблуждения великих людей, очевидно, не могут быть незначительными, они должны соответствовать масштабу их величия. Ну, а почему Стамбул не похож ни на европейский, ни на восточный город, это я все-таки понял, только несколько позднее — в Египте.

Следующая стоянка — Пирей, а значит, и Афины. Однажды я пробыл в Афинах более недели — вполне достаточный срок, чтобы получить представление об этом не столь уж большом городе. Потому сейчас, когда в нашем распоряжении было всего несколько часов, я выбрал для себя Национальный музей и Акрополь.

В Национальный музей я, собственно, говоря, шел только за одним: посмотреть бронзовый курос из Пирея. Мне как-то приходилось писать о сравнительно недавней, но ставшей уже всемирно знаменитой находке — пирейских бронзах. Из пяти статуй я видел в прошлый раз лишь три, остальные находились в реставрационных мастерских.

Пирейский бронзовый курос действительно очень хорош. В чем его прелесть, объяснить невозможно, надо его видеть. Но вот что пришло мне в голову. О греческой скульптуре мы судим по тем произведениям, которые дошли до нас

и которые обычно изваяны в мраморе. Но сами греки значительно выше ставили свою бронзу. И они были правы. Удивительно, но бронза — мы привыкли ее видеть лишь в тяжеловесных, маловыразительных памятниках на городских площадях — в руках греческих мастеров была мягче, живее, певучее мрамора. Мрамор — он, как-никак, материал строительный, а уж если говорить о ваянии, то, на мой взгляд, наилучшим образом подходит для надгробий.

Ну и, конечно, я снова был на Акрополе. Однако — не то. Совсем не то ощущение, когда оказываешься там не в первый раз, когда заранее знаешь, что, как и где. Смотришь на все, быть может, более профессионально, но уже без всякого священного трепета. Акрополь в первый раз — открытие, в десятый — великолепный, богатый, единственный в своем роде, но все же — только музей.

Поздно вечером выходим из Пирейской гавани. Начинается незнакомая часть дороги. Около полутора суток в Средиземном море. Утром идем мимо Крита, огромный остров тянется по горизонту без конца. Солнце неторопливо описывает свой полукруг, к полудню оно становится поистине беспощадным. Морю теряет свой обычный цвет, оно все начинает блестеть и серебриться мелкими, частыми волнами, вдруг вспыхивающими с такой силой, что слепит глаза. А потом — огромный, потрясающий, неправдоподобный закат. Но описывать его я не берусь: закаты на море столько раз уже описывались, и притом такими мастерами слова, что соревноваться с ними было бы просто неприлично.

На следующее утро — Александрия. Огромный порт. Наш «Феликс Дзержинский» медленно швартуется, паспортные формальности (на сей раз почему-то довольно длительные), и вот мы на берегу. И сразу, с первых же шагов, на нас обрушивается шумный, пестрый, галдящий, пахучий Восток. Фески и галабеи, орущие дети в спальных пижамах,

наргиле в кофейнях, припортовый базар, пылающий оттенками всех цветов, ударяющий в ноздри оттенками всех захов. Да, вот это — Восток!

И стоило мне только ступить на землю Египта, как я сразу же понял, почему Стамбул не похож на восточный город. В нем утерян колорит людской толпы. А это, оказывается, главное, что определяет облик города. Не архитектура, не детали городского пейзажа, а в первую очередь то, как выглядят люди и во что они одеты. В Стамбуле все ходят в европейском платье, вот почему город и выглядит в общем по-европейски.

В данный момент мы в Александрии только проездом. Мы следуем дальше по маршруту «Феликса Дзержинского» — Кипр, Латакия, Бейрут, потом вернемся обратно в Александрию; теплоход уйдет домой, а мы тогда уже останемся в Египте. Поэтому сейчас — лишь обычный туристский пробог по Александрии.

Как только наш автобус выезжает за ворота порта, его сразу окружает шумная толпа детей в галабях, полосатых пижамах, они все поднимают вверх правую руку с растопыренными пальцами и быстро перебирают ими. По наивной самоуверенности, свойственной многим туристам, мы склонны рассматривать эти знаки как незнакомое нам восточное приветствие. Но вскоре выясняется, что это не совсем так: приветственные жесты означают, что дети просят у нас бакшиш — пять пиастров (по числу пальцев на руке).

Нас везут вдоль набережной — главной гордости города. Протяженность этой набережной — двадцать шесть километров; она вся застроена многоэтажными домами, которые издали, с моря, кажутся ослепительно белыми, но теперь, вблизи, видно, что они желтые или серые, довольно грязные. Гид поясняет, что это — район лучших отелей, ночных клубов, казино и прочих развлекательных заведений.

Нас привозят в Монтазар, где находится летний дворец последнего египетского короля Фарука. Роскошный парк. Впервые в жизни вижу финиковые пальмы, отягощенные огромными гроздьями созревших плодов. Самый дворец потрясающе безвкусен, чем-то даже напоминает пресловутый морозовский особняк на бывшей Воздвиженке. Огромное количество спален и ванных комнат; последние имеют ту особенность, которая в современном московском быту именуется совмещенным санузелом. Такое впечатление, что Фарук и все его королевское семейство только тем и занимались, что спали, а потом сидели в ванной. Ну, что же, быть может, это и есть наилучший образ жизни в Александрии знойным летом.

К вечеру следующего дня приходим на Кипр, в Фамагусту. Однако наш «Феликс Дзержинский» изрядно опаздывает, солнце уже село, становится совершенно темно. В темноте небольшой тесный порт нас не может принять, теплоход остается на рейде. Через некоторое время к нашему борту подходит моторный катер; мы спускаемся в него по трапу.

Эта короткая морская прогулка — одно из самых милых, прелестных воспоминаний за все наше путешествие. Как только катер отваливает от борта, мы сразу же с головой погружаемся в мягкую, горячую темноту, в которой неразличимо сливаются море и небо. Густая маслянистая вода. Низкие звезды. И вот уже кажется, что во всем мире ничего больше нет и не может быть, кроме этой всеобъемлющей темноты, этих низких мохнатых звезд да еще, пожалуй, короткого, необычайно отчетливо слышного в тишине стука нашего мотора.

Из Фамагусты нас везут в Ларнаку, город, в котором, по преданию, родился великий философ древности, основатель стоической школы — Зенон. По дороге нам часто

попадают небольшие селения — яркий свет в домах, раскрытые настежь двери, громкие голоса, смех; все это производит впечатление полного мира и спокойствия. Разве можно было себе представить, что пройдет всего несколько недель, и на этом прелестном острове, на который некогда, выйдя из пены морской, ступила Афродита, вдруг вспыхнут вражда, безумие, прольется кровь? Да этого и не было бы и не могло быть, если бы только в эту мирную жизнь не вмешивались темные силы.

В Ларнаке нам показывают местную достопримечательность — частный музей, принадлежащий господину Зенону Пиеридесу, генеральному консулу. Нас любезно встречает сам владелец музея, видимо, богатый человек и страстный коллекционер. Он собрал в своем музее самые разнообразные памятники истории и культуры Кипра, начиная с неолита и кончая полотнами (скажем в скобках — малоинтересными) современных художников-киприотов.

Все это, конечно, самые беглые впечатления, но на Кипр нам еще предстоит вернуться. К сожалению, не менее беглые, поверхностные впечатления у меня остались от Сирии и Ливана. В Латакию мы приходим ранним утром. Сначала нас из порта везут в город. Веселый, молодой, белозубый шофер; автобус увешан игрушками, серпантином, фотографиями кинозвезд. Город не производит большого впечатления; он усиленно строится на европейский лад, старые кварталы исчезают. Улицы немногочисленны, движение небольшое, кое-где у подъездов домов сидят неторопливые местные жители и курят. Здесь тоже в ходу фески и наргиле.

Выезжаем за город. Цветущие кактусы. Крестьяне собирают урожай оливок. Нас привозят в сельскохозяйственный институт, и мы осматриваем его опытные участки. Вот апельсиновые рощи, где каждому из нас разрешают сорвать по апельсину. К своему удивлению встречаем соотечествен-

ников. Это научные сотрудники Ленинградского института сельского хозяйства, работающие здесь в качестве консультантов.

В Бейрут — конечный пункт нашего маршрута — приходим в тот же день, к вечеру. Самое эффектное зрелище из всего виденного до сих пор — по носу нашего корабля бесчисленные огни города, налево — луна, уже высоко стоящая в небе, по правую руку — багрово догорающий закат. Высаживаемся; в город идем пешком, доходим до центральной площади. Здесь разбредаемся, но так как все боятся заблудиться ночью в незнакомом городе, то мы, как цирковые лошади, все время ходим по кругу.

Бейрут, хоть я его почти не видел, — «шикарный» город. Недаром про него так и говорят — «Париж Востока». Центральные улицы чрезвычайно оживлены, толпы народа, магазины торгуют до глубокой ночи, блеск витрин, огни реклам — чем не Париж?! Мы случайно попали на так называемый Армянский базар, и тут нас едва не разорвали на части торговцы всяким залежалым, бракованным товаром. Кто не устоял, поддался их натиску, тот уже потом, на теплоходе, с горечью или со смехом обнаруживал распознанные швы, дырки в носках, рубашках, кофточках и прочей ерунде.

На обратном пути, минуя Латакию, в восьмом часу утра мы снова приходим в Фамагусту. На этот раз порт нас принимает. Нас тянет маленький закопченный буксирчик, пускающий огромные клубы черного дыма. Называется он гордо — «Дездемона». Входная башня венецианской крепости на берегу — «башня Отелло». Все здесь напоминает о знаменитой трагедии Шекспира, все кажется подходящей для нее декорацией.

В городе хорош готический собор святого Николая; он был в свое время превращен в мечеть, и потому одна из





**БАШНЯ ОТЕЛЛО (КИПР)**

его башен увенчена минаретом. Едем вдоль крепостной стены: ее строили еще крестоносцы, до сих пор она в великолепной сохранности. Мы направляемся в Саламин, наиболее крупный город древнего Кипра.

По дороге ненадолго останавливаемся в Энкомии, где раскопками французских и кипрских археологов вскрыто большое поселение микенского времени. Это, по всей вероятности, Аласия, город, который еще в глубокой древности вывозил медь и торговал с Египтом.

Что касается Саламина на Кипре, то, по античному преданию, он был основан Тевкром, героем Троянской войны и сыном царя греческого острова Саламин. Город испытал немалые превратности судьбы; при Константине Великом он был разрушен землетрясением, вновь отстроен и под именем Констанции сделан столицей острова.

Раскопки Саламина очень интересны. Хорошо сохранились гимнасий с его мраморными колоннами и статуями (отчего он нередко именуется «мраморным форумом»), бассейн, развалины театра, остатки базилики святого Епифания. Некоторые уголки среди этих развалин чудо как хороши — низкий вырез листвы, густо-синее небо, горячий от солнца мрамор. Тишина. Пахнет диким укропом и еще чем-то горьковатым, вроде нашей полыни.

На обратном пути нас завозят в монастырь святого Варнавы, основанный чуть ли не в VI в. Церковь мало интересна, в ней — с иголки новые, аляповатые иконы. Поэтому гораздо интереснее другая достопримечательность: три брата монаха, они же художники, снабжающие церковь, — и, конечно, всех окрестных крестьян — этими лубочными иконами собственного производства.

Они совсем неплохо устроились в жизни, эти братья-монахи — лукавые, жирные старцы с одинаковыми библейскими бородами. Они не преминули потребовать с нас мзду за

осмотр церкви, пытались нам всучить какие-то иконки, крестики, ладанки и очень охотно фотографировались, принимая благочестивые, но живописные позы.

К вечеру уходим из Фамагусты. Ну вот, собственно говоря, на этом и кончается первая часть путешествия. Завтра утром — Александрия, завтра мы распрощаемся с нашим «Феликсом Дзержинским». А жаль — мы уже успели привыкнуть к его палубе, к его каютам и салонам, к его команде, к его гонгу в часы завтрака, обеда и ужина, ко всей его ладной, разумно и в лучших морских традициях регламентированной жизни. Но что поделаешь! Итак, завтра начинается Египет.

## II

Нет, я вовсе не собираюсь продолжать в том же духе и последовательно излагать, что мы еще видели в Александрии или как мы из Александрии поехали в Каир, а потом в Луксор и, наконец, в Асуан. Попытаюсь как-то отобрать и сконцентрировать свои впечатления под таким хотя бы углом зрения: Египет 5000 лет назад и теперь.

Ничего себе «угол зрения», скажет кто-либо из моих читателей: вместить пятитысячелетнюю историю Египта в беглый рассказ о месячном путешествии! Надо обладать изрядной долей, мягко говоря, храбрости, чтобы ставить перед собой такую задачу.

Но ни на что подобное я и не претендую. Я хочу лишь рассказать о своих впечатлениях как от древнего, так и от современного Египта. Но вместе с тем я хорошо знаю, что даже о самых поверхностных путевых впечатлениях нельзя писать по принципу «что видел, то и пишу». А для Египта это тем более исключено. Так, например, я видел, что Нил

течет от Асуана к Средиземному морю, но стоило мне хоть немного пробыть в Египте, хоть немного вжиться в его прошлое и настоящее, как я понял, что это неверно: Нил течет от пирамид до Асуана.

Итак, сначала о Египте древнем, т. е. о тех памятниках его древней культуры, с которыми мне удалось познакомиться. Здесь на первое место следует поставить Каирский музей.

Дело не в том, чтобы его описывать или хотя бы перечислять его наиболее выдающиеся экспонаты. Это вообще немислимо. Подробный каталог музея, составленный еще под редакцией Масперо в начале нашего столетия, состоит более чем из 60 томов. С тех пор музей неоднократно пополнялся.

Могу сказать о нем лишь несколько слов в плане самых общих замечаний. Большое впечатление произвело на меня искусство Древнего царства. Такие скульптурные группы, как супружеская пара Рохотеб и Нефрет, карлик Сенеб с женой и детьми или, наконец, знаменитый «деревенский староста», принадлежат к самым высоким образцам реалистического искусства. Среднее царство, на мой взгляд, менее интересно или, быть может, слабее представлено в самом музее. Что касается Нового царства, искусство которого представлено очень широко и разносторонне, то здесь картина гораздо сложнее.

Конечно, своеобразнее всего амарнский период. Это вообще было сложное время, одна из наиболее бурных эпох истории древнего Египта, когда на рубеже XV—XIV вв. до н. э. фараон Эхнатон предпринял отчаянно-смелую попытку одним ударом покончить с многовековыми традициями, и в первую очередь с традиционной религией. Однако его реформа была не только религиозной (введение культа единого солнечного божества), но и социально-политической;

ею наносился удар по высшим слоям жречества, которые благодаря своим богатствам и влиянию давно претендовали на ведущую роль в управлении государством.

Я далеко не специалист в области древнеегипетского искусства, но знаю, что знатоки всегда выделяют искусство этой эпохи в особый период (по месту раскопок столицы царя-реформатора около современной Эль-Амарны его обычно называют амарнским). Но не надо, по-моему, и быть специалистом, чтобы заметить резко бросающуюся в глаза специфичность амарнского искусства, его стилевые особенности.

Одни видят эти особенности в ракурсе, в поисках трехмерной формы, другие говорят о сочетании «резкого портретного натурализма» с утонченной «линейной стилизацией». Конечно, не полагается профану спорить со знатоками и специалистами, но все же эти определения представляются мне слишком академичными. Суть дела, на мой взгляд, проще и яснее: амарнские мастера — и это, пожалуй, единственный пример в истории древнеегипетского искусства, — стремясь вырваться из круга веками устоявшихся, застывших канонов, но еще не найдя им адекватной замены, встали на путь их разрушения, доводя использование любого канонического приема до крайней нарочитости, почти до гротеска. Отсюда и черты «стилизации» и даже «декаданса» в изобразительном искусстве амарнского периода.

Что касается знаменитой гробницы Тутанхамона, то, говоря честно, я был разочарован. Четыре саркофага, два гроба (один саркофаг и один из гробов, в котором ныне находится мумия, оставлены в самой гробнице, в Долине царей), масса дворцовой мебели, утвари, художественных изделий заполняют половину колоннады верхнего этажа. Отдельные вещи великолепны, но они тонут в общей массе, а все вместе взятое производит даже какое-то удручающее

впечатление: слишком много золота, все блестит, саркофаги блестят, как медные части на нашем теплоходе.

Но основной итог знакомства с Каирским музеем, конечно, не в этих разрозненных впечатлениях. Грандиозное собрание египетских древностей, каковым и является Каирский музей, неизбежно наводит на какое-то общее представление, общую оценку древнеегипетского искусства. Но так как после посещения музея (а я был там трижды) эта оценка еще очень смутно брезжила в моей голове и я сумел сформулировать ее для себя только после Луксора и Карнака, то есть смысл обратиться к ней позднее.

Теперь о пирамидах. Они, к сожалению, разочаровывают. Начать хотя бы с того, что на них стоит смотреть только издали. Впервые я увидел знаменитые пирамиды Гизы из Каира на довольно далеком расстоянии, с минарета мечети Ибн-Тулуна. Издали они хороши, даже повиты какой-то голубоватой дымкой и вообще похожи на то, как их изображают на бесчисленных открытках, репродукциях, фотографиях. Но вблизи — полное разочарование. Маленькие пирамиды вообще не производят никакого впечатления, а самые большие — вблизи кажутся маленькими.

Кстати сказать, недавно я имел случай убедиться, что, конечно, не я первый обратил внимание на эту особенность. Оказывается, известный русский путешественник А. С. Норов, посетивший Египет в 30-х годах прошлого века, был того же мнения. Он писал: «По странной игре оптики, замеченной уже многими путешественниками, пирамиды, по мере приближения к ним, кажутся как бы менее огромными, чем издали; это происходит, по моему мнению, оттого, что издали они имеют лазоревый цвет дальности, резко обозначающий их на пустынном пространстве и на ясном горизонте; но с приближением к ним они принимают желтоватый цвет тех камней, из которых они построены,



**БОЛЬШОЙ СФИНКС И ПИРАМИДЫ В ГИЗЕ**

и, таким образом, сливаются с тем же желтым цветом песчаной пустыни, которая их окружает».

Правильное ли это объяснение, я не знаю, но когда стоишь у подножия знаменитой пирамиды Хуфу (Хеопса), которую еще совсем недавно называли «колоссальнейшим сооружением, какое носит земля», и видишь, что каждая каменная глыба намного выше человеческого роста, и знаешь, что вся пирамида сложена из 2 300 000 таких глыб, то понимаешь, конечно, насколько все это величественно и грандиозно, но понимаешь лишь умозрительно, непосредственного же ощущения величия и огромности нет. Более того — есть ощущение величия труда многих и многих тысяч безвестных строителей, есть ощущение восторга и удивления уровнем строительной техники и есть, наконец, досадное ощущение никчемности, нелепости всего сооружения в целом. Причем, так сказать, не только формы, но и содержания.

Это ощущение лишь усиливается, когда в результате долгого, утомительного подъема по наклонному коридору-шахте пирамиды Хуфу, где нужно идти согнувшись, в страшной духоте, достигаешь, наконец, погребальной камеры — грубо вырубленного в камне тесного помещения, в котором стоит пустой саркофаг фараона. Какая колоссальная диспропорция, говоря языком искусствоведов, «между массой архитектуры и организацией внутреннего пространства».

Пожалуй, наибольшее впечатление произвела на меня одна из самых ранних пирамид — ступенчатая пирамида родоначальника III династии египетских фараонов (около 3 тыс. лет. до н. э.) Джосера. Неподалеку от нее — храм, построенный великим архитектором того времени Имхотепом. Интересно, что колонны этого храма «пристенены»; их тогда еще не умели и боялись ставить отдельно. И храм, и пирамида Джосера воспринимаются как архитектурное творе-



ние, архитектурный ансамбль, чего никак не скажешь о других, более знаменитых пирамидах.

Но, быть может, я неправ. Быть может, не следует подходить к пирамидам как к произведениям архитектуры в нашем понимании ее изобразительных средств. Не в этом их величие. Величественна самая идея пирамиды. Идея «вечного дома», идея непреходящего памятника в этом брэнном мире, в «земной юдоли». «Все в этом мире боится времени, но время боится пирамид». И тогда дело вовсе не в счастье найденных архитектурных пропорциях (как в пирамиде Джосера), а в монументальности, в своеобразном пафосе огромной и строго геометризованной массы, которая с безразличием подавляет все остальные элементы формы.

Вот и все о пирамидах. Тем более что фараоны Нового царства их уже не строили. Фараонов в эту эпоху стали хоронить в подземных гробницах, часто вырубленных в скалах. Так же хоронили и знатных вельмож. Я видел ряд таких гробниц. Самое интересное в них — стенные росписи. Стены гробниц покрыты рельефными композициями, которые обычно очень подробно и очень последовательно развертываются в горизонтальных полосах, располагающихся друг над другом, как строки письма. Мы видим здесь сцены сельскохозяйственных работ, мастерские ремесленников — горшечников, пекарей, кожевников и т. п. В гробницах египетских вельмож, которые я видел в Саккаре (т. е. в районе древнего Мемфиса, ранней столицы Египта), изображены живые, полные экспрессии сцены посева и жатвы, охоты в пустыне, приручения пантеры, рождения теленка, избиения налогоплательщиков писцами.

Но еще, пожалуй, эффектнее росписи эпохи Нового царства — хотя бы в смысле яркости и сохранности красок — в гробницах знаменитой Долины царей. В этой долине (район древних Фив) ныне раскопано 64 гробницы египетских

фараонов и вельмож. Мы ездили туда из Луксора, переправляясь через Нил.

Одна из этих поездок мне особенно памятна, потому что это было седьмого ноября, в день Октябрьской годовщины. Температура 30° в тени (я никак не мог отделаться от мысли о том, какая погода и температура в этот день в Москве). Пейзаж — не просто египетский, а именно древнеегипетский. На левом берегу Нила, где мы высаживаемся из катера, на песчаной отмели — фигуры женщин в черном, берущих воду из реки. Свои глиняные сосуды они несут на голове, совершенно так же, как на древних фресках. И тут же, где они наполняют свои кувшины, — стадо буйволов, понуро стоящих по грудь в теплой и мутной воде. В Долине царей, куда мы едем и которая расположена в небольшой котловине, — жара, как в парной бане.

Гробницу Рамзеса II — о нем еще речь впереди — мы не могли осмотреть, она была закрыта, так как в ней обвалился потолок. Интересна гробница Рамзеса VI, состоящая из 12 камер. Великолепная сохранность росписей, яркость и свежесть красок. В одной из камер на стене развернута Книга мертвых. Некоторые из человеческих фигур изображены вниз головой. Это — плохие люди; Рамзес не берет их с собой в подземное царство.

Гробница Аменхотепа II. Одна из немногих гробниц, где была найдена нетронутая мумия фараона. Хотя грабители проникали и в эту гробницу (почти все гробницы и пирамиды были разграблены еще в древности), она оказалась не полностью разоренной. Тело Аменхотепа было покрыто цветами, на груди — трогательный пучок акации, вокруг шеи — гирлянды листьев и цветов. В гробнице был также найден лук царя, про который в одной из надписей говорится, что никто не мог его натянуть, кроме самого Аменхотепа.

Огромная подземная гробница фараона Сети I. Она

состоит из 25 камер, идущих в глубину до 700 футов. Вскрыто всего 12 камер, дальнейшие раскопки временно приостановлены, так как в погребальной камере начал обваливаться потолок. Хороша черно-белая, выпукло-рельефная роспись одной из стен — 12 черных и 12 белых фигур. Это — часы суток.

Не менее интересны гробницы некоторых вельмож. В гробнице Нахта — знаменитые музыкантши, причем в изображении центральной фигуры осуществлен сложный трех-четвертной поворот. В гробнице Мена, везирия Эхнатона, великолепная роспись, изображающая с мельчайшими подробностями его путешествие в Эль-Амарну. Кстати сказать, последние две гробницы не имеют электрического освещения. И только теперь нам приходит в голову та простая мысль, что ведь и все остальные гробницы были его лишены. В них царил крошечный мрак. Если зажечь свечу или какой-либо иной светильник, то свет выхватывает очень небольшой участок стены, а значит, и росписи. Спрашивается, как и кто мог ее увидеть? Еще более непонятно, как производилась самая работа по росписи стен в такой темноте?

Нам было наглядно продемонстрировано, каким образом все это делалось. На одну из ступеней первого марша лестницы, ведущей в гробницу (он еще частично освещен солнцем), ставится зеркало, на следующем марше другое (под определенным углом) и так далее. Теперь стоит только в любой из подземных камер тоже взять в руки зеркало, тоже повернуть его под определенным углом (сторожа при гробницах изучили эту несложную технику в совершенстве), и на стену падает огромный и яркий сноп света, в котором начинают волшебным образом играть все цвета, все краски. Освещение более яркое и, кстати, более естественное, чем от современных ламп так называемого дневного света. Да, оказывается, эти древние египтяне тоже кое-чего соображали!

Даже несмотря на свой крайне низкий уровень производительных сил!

Но, конечно, наиболее полное представление о монументальной архитектуре, о ее развитии дают египетские храмы. Среди них на первое место должны быть поставлены храмы Карнака и Луксора, представлявшие собой когда-то единый грандиозный архитектурный комплекс.

Карнак, с его колоссальными пилонами и обелисками, колоннадами и залами, из которых особенно знаменит так называемый гипостильный зал, насчитывающий 134 колонны,— верховное святилище Египта, «престол мира», воздвигнутый в честь бога Амона, главного бога Фив, в эпоху их расцвета. По существу это совокупность нескольких храмов, которые строились отнюдь не одновременно и не по единому плану, но воздвигались целым рядом фараонов, отражая в своем развитии почти всю историю Нового царства. Недаром Карнак называют каменным архивом: его стены и пилоны покрыты разнообразными рельефами, многочисленными надписями, которые повествуют о важнейших исторических событиях. Анналы походов Тутмоса III и рассказ о его восшествии на престол, поэма о битве Рамзеса II с хеттами при Кадеше, списки египетских фараонов — все это сохранили нам камни карнакских храмов.

Богатейшие пожертвования фараонов превратили Карнакский и Луксорский храмы в крупнейшее хозяйство страны, которое располагало огромными земельными владениями, иногда целыми городами, а жречество этих храмов приобрело решающее влияние в государственных делах. Именно против фиванского жречества и была направлена своим острием знаменитая реформа Эхнатона, которая, однако, завершилась полным провалом.

В Карнаке можно наглядно проследить развитие древнеегипетской монументальной архитектуры — углубление ее

содержания, решение ею новых задач, использование новых приемов. В карнакских храмах ряд зал, в том числе и гипостильный, представляет собой базиликальную постройку, где средний корабль возвышается над рядами боковых колонн. Это — прототип всех позднейших храмов и базилик.

Появляется совершенно новое решение проблемы пространства. Если в архитектуре пирамид, как уже говорилось выше, масса превалирует над пространством, то в храмах Нового царства, наряду с монументальностью основных элементов (пилоны, обелиски, статуи-колоссы), подчеркивается и значение пространства. Небывалую еще в египетском зодчестве роль начинает играть колонна. Последовательное чередование вытянутых в один ряд дворов и гипостилей с их колоннадами, уводящими глаз все дальше и дальше вглубь, создает это величественное ощущение пространства.

Не было забыто также и световое решение. Оно строилось на контрастах. Открытые дворы, переходящие в гипостильные залы, были залиты солнечным светом, в гипостильях царил полумрак, а самые святилища были темны и таинственны.

Мы бродим по грандиозным руинам Карнака, дивясь этой каменной летописи, запечатленной некогда с такой силой и страстью. Семь пленных царей висят головами вниз на носу царской барки, на которой Аменхотеп II возвращается домой после победоносного похода в Азию. Они будут принесены в жертву Амону. О пятом походе знаменитого фараона-завоевателя Тутмоса в Сирию карнакские анналы сообщают такие подробности: была осень, сады и леса были отягощены плодами, вина оставлены в давяльнях, зерна по склонам холмов больше, чем песка на морском берегу, а солдаты каждый день были пьяны и умощены маслом, как в дни больших праздников.

Луксорский храм меньше, обозримее, чем Карнак, и, быть может, поэтому в нем яснее проступает цельность замысла. Вход в него вел через великолепный вестибюль, увенчанный 32 колоннами в форме связок папируса. К вестибюлю примыкал большой открытый двор, обнесенный портиками. Далее шла центральная колоннада с капителями в виде распускающихся почек папируса. Когда-то из Луксора до Карнака тянулась двухкилометровая аллея сфинксов, связывающая оба архитектурных комплекса воедино.

Луксорский храм, посвященный фиванской триаде богов — Амону-Ра, Мут и Хонсу, строился гравным образом при фараонах Аменхотепе III и Рамзесе II. Последний — излюбленный фараон всех гидов. Они рассказывают про него массу полуанекдотических подробностей.

Рамзес II правил шестьдесят семь лет и каждый год воздвигал в свою честь по огромной статуе. Часть из них находилась в Луксорском храме. Здесь до сих пор сохранились две колоссальные статуи, где он изображен сидящим, одна — стоящая и во внутреннем дворе — осколки четырнадцати разбитых статуй. Он был женат 42 раза, имел 120 сыновей и 67 дочерей (три из них были его женами).

На пилонах храма изображены сцены знаменитой битвы при Кадеше, которую Рамзес усиленно пропагандировал как одну из своих крупнейших побед. На самом же деле эта битва окончилась для египтян неудачно, им пришлось отступить, а сам Рамзес едва не попал в плен. Таким образом, египетская официальная летопись и египетские придворные историки, как и более поздние их собратья, уже неплохо освоили некоторые тайны своего ремесла и среди них ту, на которую существовал наибольший спрос, — уметь выдавать желаемое за действительное.

Не могу еще не упомянуть о замечательных храмах в Деир эль-Бахри и Мединет Абу. Первый из них — поми-

нальный храм знаменитой царицы Хатшепсут. Он расположен на трех террасах различной высоты, колоннада смело вынесена вперед, самый же храм вырублен в скале. Чрезвычайно интересны рельефы одного из портиков храма: чудесное рождение Хатшепсут от брака самого бога Амона с ее матерью и подробное изображение экспедиции в страну Пунт, прибытие в эту страну и возвращение судов в Египет, когда «привезенные сокровища были сосчитаны, благоволия измерены, золото взвешено». Храм строил гениальный зодчий Сенмут, фаворит царицы. Гигантские, уступами подымающиеся скалы составляют величественный задник этого храма. По общему впечатлению я могу сравнить его лишь с незабываемым храмом Аполлона в Дельфах.

Храм в Мединет Абу построен Рамзесом III. По своим изумительным пропорциям это одно из лучших творений древнеегипетского зодчества. Особенность настенных изображений храма — глубоко врезаемый рельеф. По преданию, художнику отрубили руки, дабы он нигде и никогда не мог воспроизвести подобной росписи.

Таковы храмы древнего Египта. Они дают, конечно, не более полное представление об искусстве эпохи Нового царства — архитектуре, живописи, рельефе. Теперь я могу попытаться сформулировать свое понимание этого искусства. Конечно, то, что я скажу, всего лишь мнение дилетанта. Но для меня самого оно важно, ибо оно как-то по-новому осветило мне египетское искусство, которое до этого было мне чуждым и даже как бы малодоступным.

Обычно, когда говорят о древнеегипетском искусстве, подчеркивают такие его характерные особенности, как монументальность, консервативность, тесную связь с религией. Последними двумя особенностями объясняют неизменность изобразительных приемов, сохранившихся на протяжении многих столетий. И действительно, общая планировка хра-

мовых зданий (например, соотношение двора и гипостильного зала), растительная колонна и многие другие архитектурные элементы сохраняются как таковые — подвергаясь изменениям лишь в некоторых своих деталях — со времен Древнего царства. Условно-схематическое изображение человеческой фигуры в рельефе (плечи развернуты в фас, грудь и ноги — в профиль) тоже проходит через века. Художник не свободен даже в выборе цвета: мужское тело в рельефе (и в круглой скульптуре) всегда окрашивается в кирпично-красный цвет, женское — в желтый или коричневый.

Все это, конечно, так, но мало еще что объясняет. Мне говорят, что египетское искусство условно, символично, канонично потому, что оно крайне консервативно и связано с религией. Хорошо, но почему оно «крайне консервативно»? Почему и как оно связано с религией? Попытки объяснить все эти особенности пресловутой замедленностью темпов общественного развития, общей застойностью «восточных цивилизаций» не выдерживают серьезной критики. Они столь же стандартны, сколь антинаучны.

Суть дела, на мой взгляд, заключается в другом. Объяснения следует искать в целенаправленности или, если можно так выразиться, в «целесоощущении» искусства. Это «целесоощущение» в древнем Египте было принципиально иным, чем, скажем, в классической Греции.

Когда Шампольон попал впервые в Карнак и Луксор, то все, что он видел до тех пор в Египте, показалось ему жалким по сравнению с теми — как он сам их называет — «гигантскими концепциями», которыми он был теперь окружен. Шампольон, говоря о концепциях, нашел правильный и точный термин, ибо главная особенность египетского искусства, его наиболее характерная черта заключается именно в его концептуальности.



Что это значит? Для греческого мастера — все равно, создавал ли он портик храма или изваяние человеческого тела, — общая идея всегда была воплощена в явлении. Отсюда любование самим явлением в его единичности и неповторимости, стремление передать его «как оно есть» и «чем оно отлично» от всех других явлений.

Ничего похожего мы не встречаем в египетском искусстве. Подобное «целесоощущение» ему совершенно чуждо. В его основе — явление, уже обобщенное до идеи. Пирамиды не воспринимаются как произведение искусства, но они дерзко-величественны, как идея. Да и любое создание египетского искусства — будь то стенная роспись гробницы, колосс Мемнона или монументальный комплекс Карнака — есть по существу не что иное, как выражение какой-либо обобщенной («отчужденной») идеи, философской концепции. Даже портрет — этот самый «натуралистический» жанр в искусстве древнего Египта — никогда не терял некоторых черт обобщенности.

Вот откуда и пресловутая условность, и статичность, и символизм египетского искусства. И это идет вовсе не от какой-то «застойности» или «консерватизма», это всего лишь совершенно закономерно возникшие элементы его концептуальности. И потому возможны различные комбинационные перестановки, новые сочетания тех или иных элементов, но крайне редко — их видоизменение. Египетское искусство — это зрительное выражение формулы мирозерцания. И как в наших современных математических формулах условные обозначения не требуют никакой замены, так и у египтян не возникало особой нужды менять свои приемы и символику. Но комбинационные перестановки, несомненно, имели место и так же, как в математике, вели к изменению результата, итога. Они были следствием и отражением смены господствующих концепций, эволюции или революции миро-

воззрения (например, реформа Эхнатона). Недаром амарнское искусство представляет собой, как уже говорилось, единственную попытку смело вырваться из окостеневших форм. Но ведь и здесь доведение изобразительного приема до крайней нарочитости было по существу основано на новой комбинации старых средств.

Все сказанное выше — вовсе не отрицание факта внутреннего развития египетского искусства. Я лишь пытаюсь объяснить своеобразие тенденций этого развития. Что касается общего определения искусства древнего Египта как «концептуального», то в этом и заключается «секрет» его связи с религией, поскольку в ту эпоху все мировоззренческие проблемы неизбежно облекались в религиозно-магическую оболочку. И потому задача изучения египетского искусства требует в первую очередь изучения именно этих проблем, их борьбы и смены, а не скрупулезного прослеживания на протяжении веков эволюции — подчас ничтожной — того или иного формального приема.

Но, пожалуй, пора перейти к Египту современному. О нем писать и легче, и труднее. Легче — так как речь здесь может идти лишь о непосредственных впечатлениях, труднее — ибо что можно узнать о стране, да еще такой своеобразной и сложной, как Египет, за неполный месяц? К тому же фактически почти не общаясь с людьми, с населением. Только самые общие, самые поверхностные впечатления! Но я хочу еще раз подчеркнуть, что читатель имеет дело всего лишь с путевыми очерками, он не вправе ждать и требовать от них большего.

Очевидно, главная задача, стоящая перед современным Египтом, заключается в том, чтобы ликвидировать страшное



наследство колониализма. Иногда говорят о ликвидации феодальных пережитков, но, на мой взгляд, это одно и то же: колонизаторы в своих интересах тщательно охраняли, искусственно консервировали пережитки феодализма. Их устраивала нищета и безземелье, забитость народа, его непросвещенность, отсталость техники, отжившие традиции.

11 июля 1882 года, в семь часов утра адмирал Сеймур отдал приказ кораблям английского флота о бомбардировке Александрии. Первый же залп корабельной артиллерии возвестил миру о начале оккупации Египта.

13 июня 1956 года, в девять часов утра последний английский солдат покинул зону Суэцкого канала. Этот день был последним днем 74-летней оккупации. Страна обрела независимость.

Но эти 74 года лежат до сих пор тяжелым бременем на египетском народе. Конфискация владений королевской династии, закон о земельной реформе, конечно, нанесли серьезный удар по пережиткам феодализма и колониализма, но полностью уничтожить их не могли. Это, к сожалению, так. Однако я не буду говорить о том, какова доля промышленности в национальном доходе, сколько федданов земли распределено по аграрной реформе между крестьянами (феллахами), не буду приводить ни цифр, ни процентов — все это можно найти в другом месте, но лишь попытаюсь показать, как это выглядит на самом деле.

Египетская деревня выглядит — и это не преувеличение — в общем так же, как пять тысяч лет назад. Глинобитные, иногда сложенные из саманных кирпичей хижины с плоскими крышами, крытыми пальмовыми ветвями или стеблями тростника и кукурузы. Впрочем, это не всегда легко заметить, потому что на крышах, как правило, свален всякий мусор. Не знаю почему, но часто крыши разукрашены тесно уложенными рядами битых глиняных сосудов.



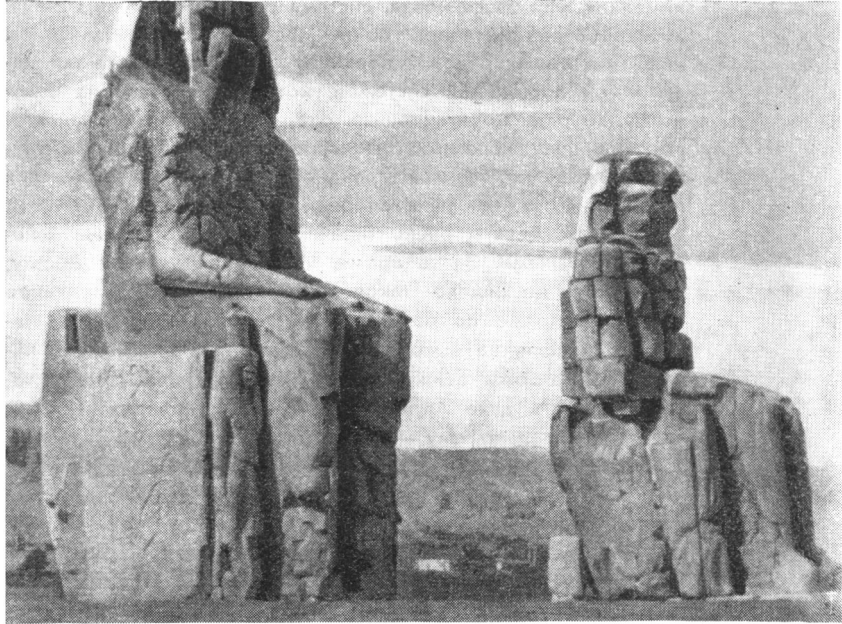
**АЛЛЕЯ БАРАНОГОЛОВЫХ СФИНКСОВ (КАРНАК)**

Мы ехали из Александрии в Каир через Дельту. Это — самый населенный район Египта. Поездка продолжалась почти целый день. На полях — кукуруза, рис. Редкие пальмовые рощи. Землю пашут деревянным плугом. Женщины — в черном, с охупками тростника на головах. Иногда вдоль дороги — небольшие караваны верблюдов.

Воду на поля качают вручную, шадуфами. Шадуф — это то, что у нас называется журавлем, т. е. длинный, качающийся шест, укрепленный на столбе. На один конец шеста подвешивается ведро, другой находится в руках того, кто черпает воду. Другое приспособление, при помощи которого орошают поля, — сакия. Работу сакии я наблюдал вблизи (правда, несколько позднее, во время поездки в Дендэру). Это два колеса, поставленные под прямым углом друг к другу. Колесо, расположенное горизонтально, вращает бык (иногда два), который ходит по кругу под присмотром погонщика. К вертикальному колесу привязаны веревками кувшины, которые при вращении непрерывно поднимаются и опускаются, черпают воду из колодца и переливают ее в длинный, узкий арык. При помощи шадуфов и сакий орошали землю и в древнем Египте.

Проблема орошения, как известно, всегда была коренной проблемой египетской деревни. Поэтому как в древности, так и ныне огромную роль в жизни всей страны играет ее великая река — Нил. Недаром еще Геродот называл Египет «даром Нила».

Уровень воды в Ниле начинает повышаться в июле, и высокая вода держится до декабря. В период паводка Нил выступает из берегов и затопляет окрестные поля. Но затем вода с полей уходит, начинается период засухи. Проблема орошения в том и состоит, чтобы сохранить необходимые запасы воды на этот засушливый период. До середины прошлого века в Египте применялась идущая еще от древности



**КОЛОССЫ МЕМНОНА**

лиманная, или бассейновая, система орошения. Но она очень несовершенна, и теперь почти повсюду (за исключением лишь некоторых районов Верхнего Египта) заменена так называемой постоянной системой, которая основана на строительстве ряда ирригационных сооружений: плотин, каналов, водохранилищ, насосных станций и т. п. Из всех этих сооружений, конечно, самым грандиозным является Асуанская плотина. Но о ней речь впереди.

Пейзаж Дельты очень типичен. Она вся изрезана каналами и арыками. За то время, что мы пересекали Дельту, нас не раз восхищало такое зрелище — паруса, медленно плывущие прямо по полям. Это, конечно, не так, это невидные издали, за высокой кукурузой или тростником, каналы, по которым движутся парусные барки. Или вдруг такой пейзаж в духе Анри Руссо: канал с лодками и парусами, параллельно ему — шоссе (по которому мы и едем), а между шоссе и каналом — железная дорога, с идущим по ней поездом. Да еще гигантские кактусы вдоль линии железной дороги.

Проездом я видел довольно много египетских деревень. Особенно когда мы ездили в Фаюм (здесь деревни побогаче и покрупнее) и Дендери. Всюду пахота тяжелым плугом (скорее — сохой). В упряжке бык, иногда бык в паре с верблюдом. Землю рыхлят мотыгой (фас). Общественные тока, молотба цепами. Во многих деревнях попадаются своеобразные глиняные сооружения куполообразной формы — общественные голубятни. Голубей специально разводят, потому что их едят. Но это, конечно, лакомство; основная еда египетского феллаха — кукуруза и бобы.

Чем же все-таки современная египетская деревня, хотя бы в смысле внешнего облика, отличается от деревень и поселков древних египтян? Пожалуй, лишь тем, что почти в каждой деревне есть мечеть. Да еще дома тех право-



верных, кто совершил паломничество в Мекку, расписаны разными занятыми рисунками. На рисунках этих изображены те средства сообщения, которые владелец дома использовал во время своего паломничества. Поэтому на одних домах нарисованы верблюды (но таких домов мало), на других — верблюды и пароходы, а есть и такие дома, на которых изображены все виды транспортных средств — от верблюда до самолета включительно.

Так выглядит в наше время египетская деревня, с ее примитивной техникой земледелия, с ее уровнем жизни и обычаями, законсервированными колонизаторами на уровне феодального (если не рабовладельческого!) поместья. Несомненно, что сейчас в новом и независимом Египте, который не хочет идти по капиталистическому пути развития, могут быть отмечены важные экономические процессы, которые имеют прямое отношение и к деревне. Растет число крестьян, владеющих землей, арендная плата ограничивается определенными нормами, создаются сельскохозяйственные кооперативы и так называемые «социальные центры», задачей которых является ликвидация неграмотности, обучение населения ремеслам и рациональным методам ведения сельского хозяйства, улучшение медицинского обслуживания. В этих «социальных центрах» кроме школ, мастерских, больниц, имеются еще опытные участки, питомники, птицефермы. Все это должно в недалеком будущем резко изменить лицо египетской деревни.

А теперь — о городах. Египетские города также сохраняют в своем облике черты недавнего и недоброго прошлого. До сих пор в каждом крупном городе существует резкое различие между центральными, так называемыми европейскими кварталами и арабской частью города («старый город»). Это бросается в глаза и в Каире, и в Александрии, и даже в таком небольшом городе, как Луксор.

Александрия, честно говоря, оставила по себе довольно слабое воспоминание. Во всяком случае «европейская», показная и нарядная часть города, этой «жемчужины Средиземноморья», как именуют Александрию все рекламные проспекты, показалась мне совсем неинтересной.

Но зато колоритен в Александрии припортовый базар (я о нем вскользь уже упоминал). Здесь торгуют чем угодно, начиная от тыквенных семечек и кончая попугаями. На лотках и тележках груды овощей, невиданных фруктов. Что-то где-то жарится, шипит, крепкий запах бьет прямо в ноздри; запахи вообще более чем разнообразны и далеко не всегда приятны. Теснота, гам; сзади на тебя вдруг наезжают тележкой, ты бросаешься в сторону и попадаешь в объятия старьевщика, который тут же пытается всучить тебе засаленную феску или рваную галабею. Под ногами огрызки фруктов, корки, кожура бананов, неизвестно откуда взявшиеся лужи. Да, здесь господствует Восток, как мы его и привыкли себе представлять по рассказам и описаниям; по крайней мере здесь ощущаешь, что ты действительно очутился в другой части света.

Центральные улицы Александрии приятнее выглядят по вечерам. Большое оживление. У входа в кинотеатры толпится народ. Магазины торгуют поздно, до 21—22 часов. Почти на каждом лотке уличных торговцев — транзисторный приемник. Шумно, оживленно. Со стороны набережной остро пахнет морем.

Каир — большой и по-своему интересный город. Но и здесь как-то болезненно поражает резкое различие между центральными кварталами и «старым городом», где грязно, тесно, где прямо на улицах обжигают в печах глиняную посуду, занимаются дублированием кож, стригут и бреют, а дети полощутся в грязных лужах, которые тоже неведомо откуда берутся, так как давно уже не было дождя.

На центральных же улицах — неоновые рекламы, блеск витрин, нарядно одетые люди, и если не смотреть на вывески (большинство из них все же — на арабском языке), то не понять, где ты находишься: то ли в Риме, то ли в Париже, то ли в другом крупном европейском городе. В Каире есть квартал (он примыкает к Нилу), который до сих пор, видимо по старой памяти, называется Гарден-Сити, — роскошные отели, посольства, даже какая-то башня-небоскреб, построенная, говорят, американцами.

Каир хорош, если смотреть на него откуда-нибудь сверху. Например, с минарета мечети Ибн-Тулуна (я о ней уже упоминал). Бесконечно уходящие вдаль плоские крыши, минареты (они успешно соперничают с немногочисленными небоскребами), на горизонте — пирамиды Гизы и резко отграниченная от зелени пригородных садов, серо-желтая полоса начинающейся тут же, за чертой города, пустыни. Вечерами я любил смотреть на город с балкона отеля, в котором мы остановились (мой номер был на девятом этаже). Вид такой: налево — мечеть с подсвеченным минаретом, за нею рекламы и огни одной из центральных площадей — площади Оперы; прямо передо мною — узкая, как каменное ущелье, типично восточная улочка, с лавочками, лотками, бродячими торговцами в чалмах и галабеях. Кстати сказать, эта соседняя мечеть с подсвеченным минаретом мне памятна до сих пор: каждодневно, в пять часов утра меня будил истошный рев муэдзина, призывавшего правоверных на утреннюю молитву. Причем я подозреваю, что сам муэдзин вовсе не вставал так рано: просто прокручивали пленку с однажды сделанной записью его благочестивых призывов.

О Луксоре как о городе мне почти нечего сказать, если, конечно, не иметь в виду самого Луксорского храма. Но о нем уже говорилось. Городок маленький, грязноватый, но на редкость хорош был отель, в котором нас поселили. Мой

номер — в нем стояла диковинная кровать с балдахином и кисейным пологом (от москитов!) — выходил прямо в сад, в роскошный сад; апельсины росли в нем запросто.

В Луксоре хороша еще набережная Нила, затененная старыми ветвистыми деревьями. На этой набережной мы наблюдали одно из великолепнейших зрелищ в мире — закат на Ниле. Я уже зарекался описывать закаты, да и сейчас не берусь, так что это — не описание, а, скажем, всего лишь протокольное изложение происшествия.

Когда меня в первый раз вечером уговорили пойти на набережную, то мне было сказано, что, мол, вчера все любовались закатом и что это совершенно незабываемое, потрясающее зрелище. Но поначалу я был разочарован. Вот солнце село и небо стало бледно-золотистым, местами даже с легкой празеленью, и очень долго оставалось таким, и я уже думал, что этим все и кончится. «Подожди, подожди, — сказали мне наши новоявленные знатоки закатов, — то ли еще будет». И действительно, прошло еще несколько минут, и вдруг бледно-золотистый цвет неба стал густеть, как-будто наливаясь внутренним жаром, он стал червонно-золотым, пылающим, так что глазам стало больно смотреть. Река тоже пылала и переливалась, а парус дальней лодки вдруг стал черным, и сама лодка тоже стала черной, и ее черный силуэт очень резко обозначился на фоне неба. Потом золото стало тускнеть, меркнуть; тогда откуда-то снизу, из-за горизонта пошла густая багровая краснота, она захватила все небо и воздух, и реку — и пошло, и пошло: такие краски, сполохи, переливы, такое ликование и неистовство света, что передать это никакими словами уже невозможно.

А теперь — Асуан. О нем за последнее время у нас много писали, постараюсь не повторяться. Самый город невелик и мало чем примечателен. Правда, около гостиницы, в которой мы жили, было несколько лавок: это называлось

суданский базар. В лавках торговали всякой экзотической всячиной — бусы, там-тамы, фески, скарабеи, резные деревянные фигурки, иногда довольно забавные. Около одной из лавок, привязанный веревкой за лапу, лежал небольшой крокодил. Вид у крокодила был больной, жалкий, он, по моему, издыхал, и потом мне сказали, что его нарочно не кормят, чтобы он скорее издох: тогда его высушат и повесят над входом в лавку. Такие сушеные крокодилы, висящие над дверьми, мне уже не раз попадались на глаза.

В Асуане нас катали на парусных лодках по Нилу и возили, в частности, на небольшой живописный островок, где находится ботанический сад, или, вернее, дендрарий. Он очень хорош. Королевская пальма, пальмы кокосовые, финиковые, бамбуковые, пальма путешественников, листья которой дают воду. Красное дерево. Сикомора. Бугенвилия: когда она в цвету, то листьев не видно и все дерево похоже на огромный букет. Эвкалипт. Обезьянье дерево, плоды которого висят, как сосиски. Манго, тамаринда, дерево-перец. Папайя. Японская пальма сикет и много еще всяких диковинных деревьев и цветов.

Хороша была также поездка в лодках по Нилу, в том районе, где находится первый катаракт (порог), скалы которого мощно вздымаются из воды. Мы ездили осматривать храм Исиды на острове Филе. Однако никакого храма и никакого острова мы не видели. Остров настолько затоплен разливом Нила, что из воды торчат лишь верхушки пилонов храма. Но зато, когда мы подъехали к этим пилонам, нас окружила — откуда ни возьмись — целая ватага орущих ребятишек в берестяных самодельных лодочках. Эти лодочки по форме своей очень похожи на лапти; мальчишки, сидя в них, ловко шныряли вокруг затопленных пилонов, вокруг нас и громко требовали бакшиш — пиастры, сигареты.

Было очень жарко. В Асуане летом, говорят, совсем невыносимо, чуть ли не 50° в тени. Где-то я прочел, что дожди здесь бывают довольно редко. Разговорившись с нашим гидом, я нарочно спросил его, правда ли это и когда был последний дождь. Он, по-моему, даже не сразу догадался, о чем идет речь. Но постепенно до него дошло, и он сказал, что живет здесь восьмой год и что во всяком случае за это время дождя не было.

На строительстве Асуанской плотины мы были дважды. Впечатление поистине грандиозное. «Это тебе не пирамиды!» — невольно сказали мы, глянув со смотровой площадки в зияющую пропасть котлована. И действительно, это так и есть. Вот только две цифры: высота плотины — 111 метров, объем — 38 миллионов кубических метров, что равно объему 17 пирамид Хеопса. Работы были в полном разгаре. До перекрытия Нила, о котором теперь все знают и читали, оставалось около полугода.

Этот индустриальный пейзаж, развертывающийся в голой каменистой пустыне, производит впечатление чуда. И невольно думаешь: чего только не может человек, в особенности когда он объединен единой волей, воодушевлен единой целью. Есть, на мой взгляд, нечто замечательное и даже как бы исторически справедливое в том, что это грандиозное строительство, оснащенное новейшей и самой современной техникой, создается именно в той стране, где несколько тысяч лет назад ценой невероятных усилий и страданий, на костях безвестных тружеников были воздвигнуты первые в мире грандиозные сооружения, пережившие самое время. Но какое огромное, какое многозначительное различие! Если пирамиды всякого мало-мальски здравомыслящего человека не могут не поразить своей практической бесцельностью, то весь пафос Асуанской плотины — в ее безусловной пользе, в практическом значении. Плотина — это сотни



ВИД НА КАИР

тысяч гектаров орошаемой земли, новые урожаи, электроэнергия, свет и вода для египетских деревень и городов.

И, наконец, еще одно-два общих впечатления. В Египте есть некая особенность, которая, быть может, не сразу зрительно улавливается, но которая на все накладывает свой отпечаток. Дело в том, что «дар Нила» — всего лишь узкая (за исключением Дельты) полоса жизни, зажата между двумя пустынями. Впервые в этом я наглядно убедился, когда мы ехали из Каира в Луксор: поезд идет вдоль Нила, то с одной, то с другой стороны, сквозь редкие деревни, сквозь пальмовые рощи все время проступают горы, пустыня — видимые границы обитаемой земли. Как всегда, переход к пустыне очерчен резко и отчетливо.

Должен сказать, что пустыня произвела на меня огромное впечатление. Я никогда раньше не предполагал, что она так разнообразна, гораздо разнообразнее моря. И не менее величественна. Особенно она хороша в знойный полдень, когда, как огромная чаша, вмещающая в себя все неистовство солнца, она наполнена легким, едва уловимым звоном и дрожью раскаленного воздуха. Она хороша и вечером при закате. Но — совсем другой вид. Помню, как мы однажды, задержавшись допоздна на плотине, возвращались к себе, в Асуан. Дорога шла пустыней — причудливо разбросанные скалы, кратеры, песок, местами взрытый как бы гигантским плугом. В общем вид, более всего напоминающий какой-то лунный ландшафт...

Ну вот и все — наше пребывание в Египте подходит к концу. Перелистываю свой путевой дневник. Последняя запись:

15.XI. Рано утром — в какой уже раз! — будит рев муэдзина. Прощальная прогулка по улицам Каира. Сегодня пятница, праздничный, или, по-нашему, выходной день, быть может, поэтому утренние улицы так пусты.



После завтрака грузимся в автобус, нас везут в аэропорт. Едем какой-то незнакомой дорогой: пальмовые аллеи, фешенебельный район загородных вилл, сады. Затем, как всегда резко, начинается пустыня. Аэропорт. Странно, но именно в это последнее утро, уже перед самым отлетом, я впервые узнал, как называют арабы Египет на своем языке — Миср.

Летим на ИЛ-18. Сначала над Египтом, потом над Средиземным морем, налево — Кипр, пересекаем Турцию (над Анкарой), потом — Черное море, потом — через Ялту, Симферополь, Днепропетровск, Харьков. Всего четыре с половиной часа! Москва встречает нас, как и полагается в это время года, родным морозящим дождиком. Какая это все-таки прелесть после всех щедрот и утомительной пышности южной природы!



Вполне естественно, что поездка в такую страну, как Египет, может навести — или, вернее, не может не навести — историка на некоторые размышления. И, конечно, первое, что приходит в голову, это мысли о прошлом, о великих, но погибших цивилизациях, об их исторической судьбе, о словах *sic transit gloria mundi* или еще о чем-нибудь в таком же духе.

Однако рассуждение на эту тему, подобное «беспредметное любование прошлым», несомненно, будет признано малоактуальным занятием. Мне вообще уже не раз приходилось слышать недоверчивые и скептические высказывания по поводу актуальности истории как науки.

Насколько справедливы такие сомнения? Так ли далеко отстоит прошлое от современности? Так ли мало между

ними подлинных точек соприкосновения? Не касаясь всем ясного вопроса о великом вкладе прошлых цивилизаций в цивилизацию современную, не говоря всем известных фраз о том, что без изучения прошлого нельзя понять настоящее или предвидеть будущее, я хочу лишь указать на ту сферу нашей общественной жизни, деятельности и мышления, где далекое прошлое перекликается с настоящим живее, органичнее, непосредственнее, чем это обычно предполагают.

Я имею в виду сферу идеологической борьбы, борьбы мировоззрений. Она, конечно, чрезвычайно широка и многообразна, но мы в данном случае ограничим ее более узкой областью — областью философии истории, или, как принято теперь выражаться, «историософии». Но и здесь мы будем говорить не об отдельных событиях или даже эпохах мировой истории, как бы значительны сами по себе они ни были, но скорее о целях и закономерностях. Поэтому мы остановимся на некоторых, наиболее распространенных в современной науке концепциях всемирно-исторического процесса. Очевидно, нетрудно будет убедиться в том, что далекое прошлое, «древность» не только составляет неотъемлемую часть всех этих построений, но и служит одним из наиболее излюбленных объектов «историософских» спекуляций.

Пожалуй, наиболее ярким и наглядным примером можно считать возрождение в наши дни так называемой теории циклизма. Эта теория претендует на исключительное положение. Циклизм его сторонниками объявляется единственно правильным и единственно возможным методом интерпретации истории. Например, на сравнительно недавно проходившем во Франции симпозиуме, который так и назывался *L'histoire et ses interprétations*, неоднократно подчеркивалось, что альтернативно возможны лишь два взаимно друг друга исключающих метода интерпретации истории: прогрессизм,

т. е. однолинейная схема восходящего (или нисходящего) развития, и циклизм. Гегель и, конечно, Маркс — прогрессисты. В наше же время, говорилось на этом симпозиуме, «многие (sic!) разуверились в этой схеме», чем, мол, и объясняется возрождение циклизма. Нам кажется, что подобная постановка вопроса весьма симптоматична для современной буржуазной историографии, а пресловутая теория циклизма заслуживает того, чтобы на ней остановиться более подробно.

В самых общих чертах суть этой теории сводится к следующему. Выступая против, как заявляют сами сторонники циклизма, «наивной гегелевской схемы» прямолинейного и поступательного развития, они противопоставляют ей идею вечного круговорота, вечного повторения замкнутых циклов, или «культур». Понятие исторического прогресса по существу начисто исключается. В крайнем случае поступательное движение может быть допущено лишь в пределах того или иного замкнутого цикла, но отнюдь не в масштабе всей истории человечества. Строго говоря, для последовательных циклистов даже не существует понятия истории человечества в смысле единого всемирно-исторического процесса, но лишь плюралистические «истории» отдельных, замкнутых и не связанных друг с другом «культур».

Такова, коротко говоря, концепция циклизма. Она далеко не нова, она родилась еще в древности, немногим позже самого понятия истории. В зародышевой форме эта концепция встречается у Аристотеля, но наиболее полного развития достигает у знаменитого греческого историка Полибия в его воззрениях на смену государственных форм. Но для нас сейчас, несомненно, важнее и интереснее тот факт, что теория циклизма приобрела такое широкое, почти повсеместное распространение в наши дни. Причем современные буржуазные историки и социологи всячески ее «совершенствуют» и подновляют. Они, конечно, не довольствуются

вышеизложенной голой схемой, но стремятся ее развернуть и наполнить живым историческим содержанием.

Так, один из крупнейших буржуазных историков конца прошлого века Эдуард Мейер обосновывал концепцию циклизма на материале древней истории. Причем он оперировал хорошо всем нам известными социально-экономическими категориями. С его точки зрения, античное общество от родовых форм жизни перешло к феодализму, затем в нем начинают развиваться капиталистические отношения. По существу говоря, капиталистическая стадия развития общества рассматривалась Эд. Мейером как высшая и последняя, ибо на этой стадии наступает упадок, внутреннее истощение, развитию дальше идти некуда. Цикл завершен — античное общество гибнет, с тем чтобы в новом, уже «европейском» цикле повторился весь круг развития, в тех же самых формах и с самого начала.

Политическая тенденция циклических повторений Эд. Мейера предельно ясна. Не говоря уже о том, что он совершенно недвусмысленно модернизирует социально-экономические отношения (которым он, кстати сказать, придавал большое значение) древнего общества, он еще выступает перед нами — вольно или невольно — апологетом капиталистического строя, ибо последний расценивается им как высшая ступень в развитии каждого цикла.

Считается, что в нашем веке учение циклизма возродил Освальд Шпенглер. И действительно не кто иной, как он, ввел понятие замкнутых «культур», из которых каждая обладает своим особым и неповторимым обликом, особой душой. Историческая жизнь отдельных культур подобна жизни человека; культуры знают свое детство, юность, зрелость и, наконец, старость. Каждая культура вырастает из определенного прафеномена или прасимвола. Вся жизнь и развитие данной культуры есть не что иное, как развер-

тывание тех возможностей, которые заложены в ее прафеномене.

Шпенглер в основном тоже сопоставлял (а иногда и противопоставлял!) два цикла, две культуры: античную и европейскую. Первую он называл аполлоновской и ее прафеноменом считал тело. Европейская же культура — это культура фаустовская, ее прафеномен — пространство. В качестве типичного образца его сопоставлений можно привести следующий пассаж: «аполлоновским является изваяние нагого человека; фаустовским — искусство фуги. Аполлоновские: механическая статика, чувственные культы олимпийских богов, политически разделенные греческие города, рок Эдипа и символ фаллуса; фаустовские — динамика Галилея, католически-протестантская догматика, великие династии времени барокко с их политикой кабинетов, судьба Лира и идеал Мадонны. Аполлоновская — живопись, ограничивающая отдельные тела резкими линиями и контурами; фаустовская — та, которая при помощи света и тени творит пространство... Стереометрия и анализ, толпы рабов и динамо-машины, стоическая атараксия и социальная воля к власти, гекзаметр и рифмованные стихи — таковы символы бытия двух, в основе своей противоположных миров».

Учение о замкнутых культурах, или цивилизациях, распространял на всемирную историю уже не раз упоминавшийся нами и весьма популярный на Западе историк Арнольд Тойнби. Не излагая снова его «историософскую» концепцию, напомним лишь, что он насчитывает двадцать одну цивилизацию (у Шпенглера их было только восемь), что эти цивилизации, по его мнению, отнюдь не располагаются по единой и последовательно восходящей линии и что понятие прогресса потому иллюзорно. Выступая против «наивной» и «устаревшей» схемы развития, Тойнби приводит такой «решающий» аргумент: всякая попытка реконструиро-

вать единый всемирно-исторический процесс, говорит он, равносильна тому, как если бы некто приставлял бамбуковые палки одна к другой. В результате может получиться очень длинная бамбуковая палка, однако всем известно, что бамбук так не растет.

Влияние Тойнби на современную буржуазную историографию, хотя его концепция не раз подвергалась серьезной критике, а многие «цеховые историки» (выражение самого Тойнби) считают его дилетантом, тем не менее все еще очень велико. Уже упоминавшийся симпозиум *L'histoire et ses interprétations* имеет подзаголовок: *Entrétiens autour de Arnold Toynbee*. Интересно, что на этом симпозиуме многие последователи английского историка пытались кое в чем «подправить» своего мэтра, сглаживая некоторые, не совсем приемлемые крайности его системы. Так, с помощью «наглядных» иллюстраций было показано, а по мнению самих авторов подобных утверждений, даже доказано, что концепция Тойнби не исключает прогресса. Излюбленной иллюстрацией служил пример с колесом. Известно, что при повороте колеса повозки любая точка, взятая на этом колесе, описывает циклоид. Полный поворот колеса означает возвращение точки в исходное положение, следовательно, означает завершение цикла. Но вместе с тем повозка все же движется вперед.

Итак, теория циклизма претендует на то, чтобы быть универсальным и не только универсальным, но и единственно возможным методом интерпретации истории. Каково же наше отношение к этому «методу»?

Теория циклизма неоднократно подвергалась критическому разбору в работах советских историков и философов. Ее реакционный характер, ее классовая сущность ясны каждому из нас. Но можно ли на этом ставить точку и ограничиваться таким, чисто негативным отношением к вопросу?

Мне кажется, что это было бы абсолютно неправильным, и прежде всего потому, что нам есть что противопоставить этой теории. Мы можем противопоставить ей не «наивную гегелевскую схему» прямолинейного развития, но глубоко научную ленинскую идею развития по спирали. В. И. Ленин писал: «...развитие, как бы уже повторяющее пройденные ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе («отрицание отрицания»), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии...» (Соч., т. 21, стр. 38). Таким образом, отнюдь не «замкнутые циклы» и не «прямая линия», а сложное, не сводящееся только к движению вперед, но в конечном счете все же поступательное движение человеческого общества, человеческой истории, в котором сочетаются оба противоположных момента: цикл и прямая линия.

Нет сомнений, что это замечательное ленинское положение может быть развернуто и подтверждено на огромном историческом материале. Оно не должно оставаться только единичным высказыванием. Однако об этом, к сожалению, приходится говорить как о стоящей перед нами задаче. Я не могу назвать ни одной работы — ни философской, ни исторической, — написанной под таким углом зрения. А это ли не важнейшая историко-философская проблема?

Поскольку дело обстоит именно так, я позволю себе несколько подробнее развить свои соображения. Возьмем, к примеру, вопрос об исторических аналогиях, о сравнительном методе в истории. Решение этого вопроса тесно связано с общим пониманием и интерпретацией исторического процесса.

Как и следовало ожидать, концепция циклизма в значительной мере основывается на использовании (как правило, весьма неумеренном!) исторических аналогий. Даже такой наиболее последовательный провозвестник и сторонник

учения о «замкнутых культурах», как сам Шпенглер, и то пытаются проследить — мы уже имели случай в этом убедиться — «в древнем мире развитие, представляющее полную параллель нашему западноевропейскому». Тойнби поступает еще решительнее. Объявив, что все существовавшие (и существующие) цивилизации могут считаться «в философском смысле современными и эквивалентными», он тем самым стремится обосновать возможность применения сравнительного метода в истории. При подобном подходе открываются поистине неограниченные возможности для самых рискованных и экстравагантных сопоставлений. И, наконец, некоторые современные американские историки (Марч, Стейнхоф и др.), вообще не утруждая себя подведением какого-либо теоретического базиса, беззастенчиво оперируют самыми неоправданными, а подчас и вульгарными аналогиями.

История как наука едва ли может существовать и развиваться без каких-либо сопоставлений. Сравнительный метод в истории тоже возможен и, вероятно, даже необходим. Совсем не обязательно стоять на позициях циклизма, признавая эти простые истины. Но вопрос об исторических аналогиях и сопоставлениях должен быть поставлен иначе. Перед историком-марксистом он встает как вопрос о повторяемости в процессе развития. Этот вопрос принципиально важен, ибо без учета фактора повторяемости нельзя говорить о закономерностях развития. На чем основывается любая закономерность, любой закон природы или общества? На повторяемости явлений.

Философы различают несколько видов повторяемости явлений. Возьмем в качестве примера вопрос о повторяемости на одной и той же ступени развития. В данном случае следует иметь в виду некую относительную повторяемость явлений, которая, несмотря на существование особых, инди-



видуальных различий, позволяет все же установить определенную общность между отдельными странами, точнее говоря, между отдельными человеческими обществами, переживающими одинаковую стадию развития.

Я берусь утверждать, что между такими различными, имевшими каждая свои специфические черты странами, как Англия, Италия и т. п., в эпоху, скажем, феодализма имелось все же больше определяющих «общностей», чем между средневековой Англией и Англией современной или между средневековой Италией и той же Италией в наши дни. Не говорю уже о примере нашей страны, которая, несмотря на все своеобразие своих путей развития, в ту эпоху, когда она была Россией капиталистической, тоже имела больше общих черт с другими капиталистическими странами, чем эта старая Россия с нынешней страной социализма.

В мои намерения сейчас не входит, да и не может войти конкретное определение того, в чем состоят эти общности. Меня интересует лишь «историософская» сторона вопроса. Установление таких общностей (или повторяемостей) на одной ступени исторического развития открывает, на мой взгляд, достаточно широкие возможности применения исторических аналогий и сопоставлений.

Повторяемости иного типа могут быть прослежены при изучении обществ, находящихся на разных (высшей и низшей) ступенях развития. Именно о таких повторяемостях, как мы уже убедились, писал В. И. Ленин, устанавливая принцип спиралевидного развития. Но и здесь речь, несомненно, должна идти о сопоставляемости ряда явлений общественной жизни, начиная от вопросов социальной структуры и кончая сферой идеологии.

Таким образом, для историка-марксиста вовсе не исключено применение исторических аналогий и даже сравнитель-

ного метода. Но этот метод должен базироваться не на представлении о замкнутых циклах и не на внешне эффективным, а по существу глубоко антинаучном утверждении относительно современности и эквивалентности всех существовавших цивилизаций, но на научнопознанных закономерностях развития общества. Кстати, не мешает еще раз подчеркнуть, что к познанию закономерностей исторического развития — как, впрочем, и всякого другого — мы приходим на основании изучения повторяемости явлений, идя от единичного, через особенное к всеобщему.

И, наконец, еще один пример. Все, о чем говорилось выше, имеет в подтексте одну довольно простую, но, к сожалению, еще не очень популярную у нас мысль. Это мысль о необходимости более тесной связи между историей и философией. Дело в том, что в наше время существует достаточно четкая дифференциация общественных наук. Историк, философ, экономист, юрист, филолог — каждый занимается своим делом. В какой-то степени это правильно и даже закономерно. Подобная дифференциация диктуется как накоплением огромного по своему объему материала, так и развитием, усложнением самих наук. Но значит ли это, что воздвигнуты некие непреодолимые преграды между различными, но все же родственными друг другу науками, значит ли это, что философ (или экономист, или филолог и т. п.) может, к примеру, не интересоваться историей и не следить за развитием исторической науки (хотя бы в какой-то одной, наиболее близкой ему области) или в свою очередь историк может оставаться равнодушен к актуальным проблемам современной философии? На Западе это давно не так. И потому вопрос о более тесной связи между историей и философией важен, на мой взгляд, и по существу, и как необходимое условие борьбы с враждебной нам идеологией.

Вот передо мною две книги. Одна из них принадлежит перу крупного современного историка Иозефа Фохта (ФРГ). Она называется «Закон и свобода действия в истории». Это книга историка, написанная на философскую тему. Автор другой книги — еще более известный философ-экзистенциалист Карл Ясперс. Ее название: «О происхождении и цели истории». Это книга философа, написанная на тему историческую. Чем не наглядный пример совпадения интересов историка и философа! Еще разительнее пример того, на чем эти интересы совпадают!

В книге Фохта дается общий обзор современных историко-философских и социологических концепций. Попутно автор высказывает некоторые собственные — правда, не очень интересные — соображения. Но чрезвычайно любопытно то, как он обосновывает самую тему и цель своей работы.

Фохт пишет, что вопрос, подлежат ли человеческие поступки и действия определенным законам и насколько человек может быть свободен в своих действиях, занимал многие умы с тех давних времен, как возникло «историческое сознание». «Для нас же, — подчеркивает он, — этот вопрос особенно актуален, ибо мы сознаем свою ответственность за катастрофы современности и понимаем, как важно преодолеть — духовно и нравственно — неудержимый процесс технизации жизни и растущего „омассовления“ (Vermassung) общества».

Этот тезис — технизация и «омассовление» общества и культуры фигурирует в высказываниях Фохта вовсе не случайно. Его можно встретить и у многих других авторов: впервые он появляется, пожалуй, у Альфреда Вебера как образ «четвертого», механизированного человека, человека-робота, а затем становится почти *locus communis* целого ряда современных историсософских схем.

Ясперс в своей книге развивает теорию «осевого времени» (Achszeit). С его точки зрения, существуют четыре крупных этапа в развитии человечества. Первый этап — это преистория человечества, или «прометеев век» (возникновение языка, орудий, употребление огня). Второй этап — основание древних цивилизаций. Третий — «осевое время», когда человек действительно становится человеком в своем наивысшем проявлении. И, наконец, четвертый этап — научно-технический век, «переплавку» которого мы испытываем на нас самих.

Все, чем располагает современное общество, современное человечество, все это — результат и наследие той культуры, которая произошла в «осевое время». Оно локализуется Ясперсом довольно точно: это пять веков между 800—200 гг. до н. э. «Именно там пролегает величайший рубеж (der tiefste Einschnitt) истории. Именно тогда возник человек, с которым мы имеем дело сегодня. Это время Лао Цзы, Будды, Заратустры, пророков, Гомера, досократической философии, Платона и трагиков, Фукидида и Архимеда». Ясперс определяет и три географические арены, или плацдарма, «осевого времени»: Индия, Китай, Западная Европа.

Что касается отношения Ясперса к четвертому этапу развития человечества (ср. с «четвертым человеком» А. Вебера!), то оно довольно двойственное. С одной стороны — явный страх перед этим веком техники и «омассовления» и совершенно неясное представление о том, во что все это может вылиться. С другой — в отличие от безнадежного пессимизма Шпенглера и Вебера — некое «самовзбадривание», оптимистические ноты, надежды на то, что этот четвертый этап, быть может, приведет к новому, пусть еще далекому и незримому «осевому времени» (zweite Achszeit). Техника — это лишь средство, и сама по себе она ни плоха, ни хороша. Техни-

ка — это демон, в том смысле, что она противостоит человеку, но от человека же и зависит укрощение этого демона, использование его и приобретение власти над ним. Техника как таковая есть «пустая сила, бесперспективный и расслабляющий триумф средства над целью».

Чувство страха буржуазных идеологов — философов и историков — перед технизацией и «омассовлением» общества объяснить нетрудно. Это, с одной стороны, все более обостряющееся ощущение того, что они сами называют «кризисом современной цивилизации», с другой — и тут существует прямая связь — своеобразный камуфляж, призванный скрыть страх перед иной, более реальной «опасностью» — социалистической революцией, изображаемой в перспективе как «омассовление» культуры, мертвящая технизация, превращение людей в роботов и т. д.

Таковы некоторые из многочисленных попыток буржуазных историков, философов и социологов дать свою интерпретацию всемирно-исторического процесса. Рассмотренные нами теории «неоциклизма» и «осевого времени» могут, пожалуй, считаться наиболее распространенными и признанными, наиболее «модными» в современной историографии и социологии. Какие же отсюда следуют выводы?

Первый и наиболее существенный, с нашей точки зрения, вывод заключается в том, что современная «историософия» оказывается важным, актуальным и даже злободневным участком идеологической борьбы. Это — тот участок, где в настоящее время испытываются — и подчас достаточно остро и напряженно — многие мировоззренческие проблемы.

Второй вывод состоит в том, что на поименованном участке, как нигде часто, с закономерной неизбежностью сближаются понятия древности и современности, прошлого и настоящего. Ибо «древность» в современных историософских концепциях, а следовательно, и в современной

идеологической борьбе — понятие отнюдь не антикварное, но живое и действенное, некий эталон, иногда даже оселок, на котором проверяется отношение к той или иной позиции в самой борьбе.

И, наконец, последний вывод относится к вопросу о необходимости более тесных связей между историей и философией. Эта связь — одно из важнейших условий в борьбе мировоззрений, ибо она — и только она — дает возможность не размениваться по мелочам, не отвлекаться частностями, не наносить удара — возвращаясь, по принципу кольцевого построения, к образу, уже использованному в самом начале, — растопыренными пальцами, но крепко сжатым кулаком и не куда попало, а «под вздох».

Вот те размышления, на которые навела меня поездка в Египет. Иной из моих читателей, пожалуй, может заметить, что они, эти размышления (к тому же довольно общего характера), мало чем связаны с фактом самой поездки. Не спорю и согласен, что все высказанные мысли и соображения могут прийти в голову просто за письменным столом, независимо от каких бы ни было поездок и путешествий. Однако у меня это было не так. И если помнить, что Египет — это и есть колыбель одной из древнейших человеческих цивилизаций и что здесь с какой-то особой силой ощущаешь объемность, безграничность и неисчерпаемость времени — времени, исчисляемого и мгновениями, и тысячелетиями, — то, возможно, высказанные выше мысли, заметки, наблюдения покажутся более понятными и более оправданными.

1964 г.



ОБ  
ИСТОРИЧЕС-  
КОЙ  
НАУКЕ

На протяжении последних лет к исторической науке в нашей стране, к ее судьбам, к проблемам ее развития привлечено большое внимание. Не будем перечислять всех совещаний — иногда очень широких и представительных, — проведенных за это время, всех дискуссий и выступлений — как письменных, так и устных, — появившихся на страницах журналов или прозвучавших в аудиториях наших высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, скажем лишь о том, что на этих совещаниях и дискуссиях, в статьях и отдельных выступлениях выдвигались как вопросы самого общего характера, например о предмете истории, о природе исторических знаний, о новых методах исторического исследования и т. п., так и более специальные историко-социологические или даже историко-философские проблемы: понятия «формация» и «эпоха», проблема повторяемости в истории, гносеологический анализ природы исторического факта и т. п.

Как это обычно и бывает в подобных случаях, многие вопросы при обсуждении были только поставлены, но отнюдь не решены, кое-какие важные проблемы вообще остались незатронутыми, по некоторым же вопросам выдвинуты не совсем удачные — во всяком случае, на мой взгляд — решения. Что касается меня лично, то знакомство с материалом дискуссий и обсуждений, участие в них привело меня к несколько странному и неожиданному выводу — к выводу о том, что не существует ни полной ясности, ни единого мнения по целому ряду общих понятий, определяющих самую сущность и специфику исторической науки. Поэтому, оставляя пока в стороне весьма интересные, важные, но все же более спе-



циальные проблемы, я хотел бы в данном случае высказать некоторые соображения по вопросам общего характера, тем более, что они в силу именно этого обстоятельства представляют, как мне думается, не только сугубо профессиональный интерес.

Вероятно, историкам многое из того, о чем я собираюсь говорить, покажется само собой разумеющимся, быть может, даже тривиальным. В кое-чем другом они будут со мной не согласны. Но, говоря честно, меня это не очень пугает. Во-первых, историки вообще редко бывают согласны друг с другом, во-вторых, я пишу на сей раз не столько для них, т. е. не для тех, кто сам создает исторические труды, исследования, сочинения, сколько для тех, кто всю эту продукцию потребляет. Поэтому, в меру своих сил и возможностей, я попытаюсь подойти, если и не ко всем, то хотя бы к некоторым вопросам, с позиций читателя, с позиций потребителя «исторической продукции».

Кроме того, я вовсе не претендую на изложение какой-то системы взглядов, какой-то более или менее стройной «концепции». То, что я пишу, это всего лишь отдельные мысли и соображения, иногда непосредственно связанные с теми вопросами, которые обсуждались на страницах журналов или на совещаниях, а иногда связанные только косвенно. Поэтому разрешу себе начать с такого вопроса, который в ходе всех названных обсуждений и дискуссий фактически даже и не ставился.

## АКТУАЛЬНА ЛИ ИСТОРИЯ КАК НАУКА?

Итак, подобный вопрос не возникал. В этом, казалось бы, нет ничего удивительного, именно так и должно быть, хотя бы потому, что основную массу участников всех обсуж-

дений составляли сами историки (и в меньшей степени — философы). Однако это вовсе не означает (и об этом я уже раньше упоминал), что подобной проблемы не существует вообще. Более того, это даже не означает, что отношение самих историков к данной проблеме может считаться достаточно ясным и недвусмысленным.

Сомнения или скептические высказывания по поводу исторической науки — как это ни покажется странным иному читателю — в наше время не столь уж редки. На мой взгляд, существует даже как бы несколько степеней или градаций этого скепсиса.

Степень крайняя. Что может дать история (или еще шире — все так называемые гуманитарные науки) в наш век физики, биологии и кибернетики, в наш атомный век? Какова реальная ценность исторических знаний? Каково их практическое приложение?

Степень умеренная. Если история и может считаться актуальной наукой, то лишь постольку, поскольку она посвящает себя изучению и осмыслению современности, а всякое «любование» прошлым, всякое «копание» в нем никому в наше время не нужно, не интересно и ничего не дает. Поэтому в исторической науке, как, впрочем, и в любой другой, есть проблемы актуальные и неактуальные, т. е. важные, нужные, значительные (к ним относится все то, что касается современности), и вместе с тем есть проблемы, не имеющие никакой позитивной ценности (все остальное!). Подобного рода высказывания мне не раз приходилось слышать из уст самих историков.

Казалось бы, первым движением души должно быть в таком случае стремление встать «на защиту» исторической науки, показать или, вернее, доказать ее значение и актуальность. Тем более, что сделать это, собственно говоря, не так уж и трудно.

Можно, и без особых усилий, подобрать весьма внушительное количество цитат и самых авторитетных высказываний, подтверждающих, сколь высоко ценили историческую науку основоположники марксизма, как строго и неуклонно придерживались они того правила, согласно которому исторический подход, аспект историзма — необходимое условие анализа любого общественного явления.

Это, на мой взгляд, настолько известно и очевидно, что я не испытываю ни малейшего желания вести словесные бои со скептиками или недоброжелателями исторической науки подобным оружием. Я вообще хочу подойти к вопросу об актуальности исторической (а, пожалуй, и не только исторической) науки с несколько иной стороны.

Я хочу говорить о самой критерии актуальности. Всегда ли правильно и всегда ли достаточно осторожно мы применяем этот критерий? Не злоупотребляем ли мы им? Кстати сказать, он, этот критерий, не так уж прост и «самоочевиден», в особенности, если идет речь о его применении к науке.

Разберем прежде всего самое понятие «актуальность», («актуальный»). Если верить толковым словарям русского языка, оно имеет следующие значения: 1) существующий в действительности, осуществленный (противопол.— потенциальный) и 2) насущный, важный в настоящее время, злободневный. Второе значение этого понятия, как отмечают те же словари, следует считать новообразованием. Однако нетрудно убедиться, что в наши дни мы довольно далеко ушли вперед и от этого нового значения слова. Во-первых, понятие актуальности в значительной мере абсолютизировалось. Оно теперь лишь весьма условно связывается с настоящим временем, «данным моментом», поскольку этот момент, очевидно, может длиться долгие годы. Затем — актуальность пытаются определять, так сказать, заранее, не по тому, как та или иная

работа (научная) выполнена, но по заявкам, названиям, по самой тематике. И, наконец, понятие актуальности приобрело, и это, пожалуй, самое «опасное», несвойственную ему раньше оценочную и даже эмоциональную окраску: все то, что актуально,— хорошо, нужно, полезно, что неактуально — плохо и никуда не годится.

Последнее утверждение действительно мне кажется опасным. Я далеко не уверен, имеем ли мы право, включая в понятие актуальности момент оценки,— а в наших условиях это всегда оценка общественного значения,— подходить с подобным критерием к науке. И в самом деле, как можно сказать с твердой уверенностью (да еще заранее!), что та или иная отрасль науки, то или иное направление научных исканий или, наконец, та или иная научная проблема неактуальна, а следовательно, и не нужна. Риск, как известно, благородное дело. Но кто возьмет на себя малоблагородный риск таких пророчеств?

Только что высказанная мысль может быть изложена точнее. По моему разумению, в тех случаях, когда речь идет о науке, о научных проблемах и исканиях, можно и даже нужно исходить из соображений актуальности, но следует быть более чем осторожным, неторопливым и даже «нерешительным», когда требуется вынесение вердикта о «неактуальности». Кто определил то или иное научное направление, ту или иную научную проблему как актуальную, но, предположим, ошибся в своих прогнозах, тот совершил неизмеримо меньшую ошибку, чем тот, кто «снял» изучение перспективной (пусть даже скрыто перспективной!) проблемы, сочтя ее «неактуальной».

Известны примеры — история науки достаточно богата ими,— когда то, что казалось (и даже признавалось всеми) неактуальным вчера, становилось более чем актуальным сегодня или завтра. Великие открытия, остававшиеся втуне на

протяжении многих и многих лет по причине своей «неактуальности», вдруг оказывались жизненно необходимыми для науки на ее новом, более высоком этапе развития. Без поисков, без риска, без воображения, наконец, без неудач нет ни науки, ни процесса творчества вообще.

Ровно сто лет назад Грегор Мендель сделал великое открытие, установив закон наследования признаков. Однако почти полвека этот закон никем не признавался и никого не интересовал. Только в 1900 г., когда, видимо, созрели нужные условия и забытое открытие Менделя было воскрешено одновременно тремя крупнейшими ботаниками (Чермак в Австрии, Де-Фриз в Голландии, Корренс в Германии), началась новая эра в истории биологической науки, эра современной генетики. А в нашей стране вследствие монопольного положения Т. Д. Лысенко и его группы признание этого закона приравнивалось вплоть до сравнительно недавнего времени к антидарвинизму и даже идеализму.

Можно вспомнить и о том, как Макс Планк, в те времена еще молодой, начинающий ученый, заявил кому-то из маститых профессоров о своем намерении заняться изучением теоретической физики и в ответ услышал насмешливое пожелание не тратить сил и времени на бесплодные занятия в той области науки, где сделано уже все возможное. А это «все возможное» было «сделано» до того, как появилась, в частности благодаря самому Планку, идея квантов энергии, теория относительности и другие великие открытия в области теоретической физики.

Да и в области самой исторической науки открытия последних лет, даже если они относятся к весьма отдаленному прошлому, разве не влияют на наше современное понимание исторического процесса, не обогащают его? Разве дешифровка минойской письменности, столь успешно начатая Вентрисом и не менее успешно продолженная рядом советских ученых,

не приподымает завесы над новым и дотоле неизвестным нам миром, над новой эпохой человеческой истории? Разве находка документов Мертвого моря не меняет весьма основательно наших представлений о раннем христианстве, т. е. об одной из исторических проблем, которая и в наше время сохраняет живой интерес и «актуальность»? Разве пересмотр и научная критика норманистских теорий не изменили по существу концепции возникновения русского государства и не служат для нас надежным оружием в непрекращающейся по сей день борьбе против различных спекулятивных «теорий»?

Но в данном случае дело не только, и даже не столько, в великих открытиях и достижениях, вносящих переворот в науку. Открытия и перевороты, революции в науке бывают, как и всякая революция, качественным скачком, происходящим в результате постепенного количественного накопления более неприметных, иногда даже «ничтожных» факторов, которые вызревают в тиши, но которые, в конечном счете, и создают условия, необходимые для такого качественного скачка. Но как судить о том, какие из этих, до поры до времени неприметных, незначительных факторов следует считать актуальными и какие неактуальными? Кто возьмет на себя такую смелость?

При слишком прямолинейном подходе возможны — а по-моему даже неизбежны — самые неожиданные и самые непростительные просчеты. Вот почему применение критерия актуальности, в современном его понимании, к той или иной области научного исследования требует, на мой взгляд, крайней осторожности.

Я почти не сомневаюсь, что найдется такой критик, который, несмотря на все сказанное и все данные выше разъяснения, заявит, что я вообще выступаю против критерия или даже против самого понятия актуальности. Поэтому пов-

торяю и подчеркиваю еще раз: я не против критерия актуальности, я — за его правильное применение. А правильное применение этого критерия заключается не в том, чтобы заранее определять и оценивать, что для науки «хорошо» и что «плохо» или что «нужно» или «не нужно» и, исходя из этого, одно поддерживать, другое начисто отменить, но в том, чтобы, отталкиваясь от каких-то объективных данных, понять очередность и соотношение задач. Конечно, на каждый данный момент не бывает и не может быть равноценных проблем и равноочередных задач. Развитие общества, потребности общества выдвигают перед любой отраслью науки более или, наоборот, менее настоятельные запросы, первоочередные и второочередные задачи. Это само собой разумеется, это всегда так бывало и будет впредь; требуется лишь одно: не считать менее настоятельный запрос вообще никому не нужным, второочередную задачу вообще не имеющей права на существование.

Если говорить об истории, то никто не сомневается в первоочередности и актуальности научных проблем современности, но это не значит, что все относящееся к более или менее отдаленному прошлому вообще не заслуживает внимания. Но, увы, такая нигилистическая практика существует и уже привела к тому, что целый ряд разделов исторической науки, признаваемых ныне без всяких серьезных оснований «неактуальными», фактически вымирает. Я имею в виду такие разделы, как изучение истории и языков стран древнего Востока, изучение античной истории и филологии, большие разделы медиевистики (в том числе и русской). Я имею в виду также целый ряд вспомогательных исторических дисциплин: эпиграфику, нумизматику, папирологию, палеографию и т. п. А когда-то русская наука могла справедливо гордиться своими достижениями именно в этих областях исторического знания.

В заключение еще одно небольшое замечание. Могут сказать, что слишком осторожный, «бережный» подход при вынесении вердикта о неактуальности (а следовательно, ненужности) той или иной научной проблемы окажет вредное влияние на развитие науки. Что, мол, катастрофически возрастет число плохих, никчемных работ, книг, диссертаций, а в исследовательских институтах — количество заявок на слишком мелкие, частные, псевдонаучные темы. Но, по-моему, это преувеличенная опасность. Конечно, в научной работе, как и в любой другой, бывают свои «огрехи», неизбежен какой-то процент брака. Конечно, не все научные работники талантливы, не все одинаково работоспособны и добросовестны, кроме того, в науку проникают иногда всякие ловкачи и жулики, «торговцы воздухом». Но при чем тут проблема актуальности? Если говорить о ловкачах, то именно они и спекулируют на «актуальности», если же говорить вообще о состоянии «научных кадров», то здесь вовсе не столь уж типична фигура ловкого, «талантливого» жулика, сколь примелькавшаяся и унылая фигура добросовестной бездарности. И разве не ясно, что на любую, самую актуальную тему можно написать — как это часто и бывало — из рук вон плохо.

Из всего сказанного выше вытекает по крайней мере один вывод. Если я призываю к осторожности и неторопливости при решении вопроса об актуальности той или иной отдельной проблемы или направления научного исследования, то в тех случаях, когда идет речь об отношении к науке в целом (или о самостоятельных научных дисциплинах), я считаю не только невозможными, но просто беспредметными рассуждения на тему об актуальности или неактуальности. «Неактуальных» наук нет. Наука может быть или может считаться «неактуальной» только в одном случае: если она — лженаука.



## ИСТОРИЯ — НАУКА ТОЧНАЯ ИЛИ ОПИСАТЕЛЬНАЯ?

Этот вопрос об истории имеет свою — и довольно длительную — историю вопроса. Но прежде, чем дать на него ответ, следует, очевидно, выяснить, как определяется различие между науками точными и описательными.

Обычно считают, что точные науки — это те науки, которые устанавливают, формулируют определенные законы, науки же, материал которых не дает возможности вывода и формулировки строгих законов, суть науки описательные. Если принять это определение — а насколько оно приемлемо, с моей точки зрения, выяснится ниже — тогда и встает вопрос, к какой из этих двух категорий или типов наук следует отнести историю.

Итак, как уже сказано, вопрос далеко не нов. Он в свое время активно разрабатывался «классической» немецкой историографией, которую один из современных немецких же историков именует — и, видимо, с достаточным знанием дела — «детисцем идеалистической философии». Основные положения, общие почти для всех представителей этого направления (как в историографии, так и в философии), могут быть подытожены следующим образом. Человеческие действия произвольны, спонтанны; случай — непостижим. Кроме того, все это не что иное, как данные нашего сознания. Задача историка заключается в том, чтобы «ухватить» своеобразие и особенности исторического феномена и показать их по возможности убедительно. Историк всегда имеет дело с единичным и неповторимым. Отсюда общий вывод: метод исторической науки — индивидуализирующий, тогда как метод естественных наук — генерализирующий.

Таким образом, нетрудно убедиться, что историческая наука сторонниками этого направления рассматривается как

наука чисто описательная. Недаром один из наиболее известных представителей «классической» немецкой историографии — Леопольд Ранке полностью сводил задачи историка к тому, чтобы рассказать «как это, собственно, все было» (*wie es eigentlich gewesen*).

Пожалуй, еще более решительно противопоставляли историю как науку описательную наукам естественным, т. е. «точным», Огюст Конт и его последователи. Позитивисты выступали против существующего, по их мнению, деления в философии и истории на понятие человека как «естественного существа» и человека как «духовного существа» и требовали «поднятия» истории до уровня естественных наук. Поэтому они выдвинули в качестве антипода истории новую «точную» науку — социологию.

Неокантианцы (Виндельбанд, Риккерт и др.) шли тоже в этом общем русле. Они признавали возможность выведения общих законов для фактов опыта (естественные науки), а для наук гуманитарных (общественных) снова ставили задачу «ухватить» и оценить в их неповторимости единичные явления (*die einmalige Gebilde*) человеческой жизни и истории. Метод естественных наук они называли номотетическим (т. е. устанавливающим законы), метод наук гуманитарных — идеографическим (т. е. описательным или даже «портретным»).

Однако это, казалось бы, соблазнительное по своей четкости и доступности, но сугубо формалистическое членение наук не смогло долго продержаться даже в самой буржуазной историографии. Как остроумно замечает современный крупный немецкий историк И. Фогт, это деление оказалось похожим на папский приговор 1493 г. По решению папы Александра VI Борджиа через Атлантический океан был проведен условный меридиан, на запад от которого все «возможные» (в смысле их открытия) земли должны были принадлежать испанцам, а на восток — португальцам. Но вскоре

выяснилось такое неожиданное обстоятельство: если плыть как можно дальше на запад, то... попадешь на восток. Приведя этот пример, Фохт пишет: «Новое осмысление предмета истории также привело к выводу, что спонтанная деятельность, как бы она ни была важна для человеческой жизни и истории, тем не менее осмысляется лишь в общих связях и, таким образом, персональный момент предстает перед нами включенным в неперсональный процесс». В заключение он присоединяется к словам одного историка, который утверждал: «В исторической жизни столь же мало событий чисто генерализирующего значения, как и чисто индивидуализирующего».

Известный немецкий философ-экзистенциалист Карл Ясперс в своей работе «О происхождении и цели истории» говорит: «Хоть мы и теперь любим читать повествования, обогащающие нас новыми образами, но существенным для нашего познания может быть лишь созерцание, связанное с анализом, который именуется ныне социологией». Он ставит вопрос о том, что представляет собой и какое значение имеет для нас «универсально-историческое воззрение». По его мнению, мы стремимся понять историю как нечто целое, чтобы понять самих себя. История для нас — воспоминание, причем такое воспоминание, о котором мы не только нечто знаем, но исходя из которого мы живем. Это та основа, с которой мы должны быть связаны, если не хотим раствориться в ничто (*in nichts zerrinnen*), если стремимся сохранить свое участие в человеческом бытии.

Однако для Ясперса все это не более чем некие устремления человеческого сознания. Да, мы действительно стремимся постигнуть историю как целое. Но насколько это наше стремление осуществимо? Отвечая на этот вопрос, Ясперс возвращается по существу на уже известные нам позиции неокантианцев. «Если мы пытаемся охватить историю,— пишет

он,— в ее всеобщих законах (причинных связях и зависимостях, закономерностях форм, диалектических необходимостях), то в этом всеобщем мы никогда не имеем дела с историей как таковой. Ибо история в ее индивидуальном есть нечто всегда и только единичное».

И, наконец, современные позитивисты (или неопозитивисты), в частности Т. Довринг, считают, что история есть «история уникального», она не может быть признана наукой, она «не позволяет предвидеть», поскольку исторические события неповторимы.

Справедливость требует отметить, что, конечно, не все буржуазные историки и философы стоят на почве полного отрицания исторических законов и считают, таким образом, историю идеографической наукой. Делались, и неоднократно, попытки сконструировать некую закономерную схему исторического развития. Из этих попыток, пожалуй, наиболее широко известны пресловутые теории циклического развития, связанные с именами Шпенглера и Тойнби, и, до известной степени, концепция «осевого времени» того же Ясперса. Однако все эти теории и концепции покоятся на сугубо идеалистической основе, и движущей силой исторического процесса неизменно оказываются такие факторы и понятия, как судьба, «жизненный порыв», религия.

Итак, история — наука описательная или точная? Как должны отвечать на этот вопрос мы, марксистские историки?

Очевидно, что любой историк, стоящий на позициях исторического материализма, признающий объективно существующие закономерности исторического развития, не может и не должен считать историческую науку описательной, идеографической. Следовательно, ее нужно считать точной наукой?

На поставленный таким образом вопрос нельзя, по моему глубокому убеждению, ответить однозначно. Нельзя, ибо самый вопрос поставлен неправильно. Почему искать альтер-

нату там, где на самом деле ее нет? Почему или описательная, или точная? Почему или — или?

Все существующие в мире науки — точные, или (если пользоваться этим термином, который мне кажется удачным) «номотетические». Самое понятие науки предполагает установление законов, без этого оно теряет свой смысл. Но вместе с тем все науки — не только точные. Элемент «идеографии» неизбежно присутствует в любой науке. Специфика и, я бы сказал, главная «прелесть» истории в том, что она с наибольшей степенью «равноправия» объединяет в себе «номотетику» и «идеографию» и выступает перед нами как наиболее яркий пример цельной «двуединой» науки.

Для меня это положение представляется и бесспорным, и ясным. Но многие ли из наших историков со мной согласятся? Дело в том, что в последнее время наблюдается явная тенденция снова решать этот вопрос альтернативно. Причем на сей раз речь идет об обратной крайности. Если исходить из статей и дискуссий последних лет, то бросается в глаза резко отрицательное, даже пренебрежительное отношение к идеографической стороне истории.

Много и часто говорится об «отсталости» исторической науки и ее методов. Говорится о том, что развитие общенаучного мышления за последнее время прошло для исторической науки стороной, почти не задев ее. Поэтому историческая наука до сих пор пользуется понятиями и методами, по существу давно устаревшими, характеризующими давно пройденный уровень научного развития.

В какой-то мере с этим нельзя не согласиться. Но дело, конечно, не только в констатации. Какие же предлагаются средства, какие способы для ликвидации такой отсталости?

В предложениях как будто нет недостатка. Одни говорят о необходимости ввести в историческую науку кибернетические методы. Ссылаются на то, что они с успехом уже

применяются в лингвистике. Кроме того, утверждают, что любая «управляемая система» может быть «кибернетизирована». Другие предлагают членение наук об обществе на: а) исторические (изучение общества как единого целого), б) структурные (изучение отдельных сторон или структурных элементов общества) и в) стыковые (объединяющие на равных основаниях оба метода: исторический и структурный). И, наконец, третьи говорят о структурном анализе как об универсальном методе, о решительном отказе от «оценочного подхода» к изучаемому материалу, о безусловном примате статистических (логических) обобщений.

В статье М. А. Барга «Структурный анализ в историческом исследовании» («Вопросы философии», 1964, № 10) утверждается: «...научная история должна состоять прежде всего из фактов статистических (то есть социологически обобщенных); эмпирические же факты могут играть в научном построении лишь представительную (!? — С. У.) роль. «Пропорции» между эмпирическим и логическим могут и должны быть найдены ни в коем случае не в ущерб последнему».

Так ли все это? Не заходим ли мы в своем стремлении превратить историю в точную науку слишком далеко? Может ли историк презрительно третировать «идеографию» и заниматься только «номотетикой»? Не превратится ли в таком случае история в какую-то иную научную дисциплину и не вернемся ли мы в несколько модернизированной форме к уже известному нам противопоставлению: история — социология?

Я сам — за точную науку и отнюдь не против применения новых методов в исторических исследованиях (вплоть до кибернетики!). Но методы должны оставаться методами, т. е. вспомогательным орудием, лесами строящегося здания, а не подменять собою цель или существо исследования. Вопрос о «пропорциях» в вышеизложенной трактовке

меня не устраивает. Я не могу быть уверен в этих пропорциях, когда «эмпирическим фактам» отводится лишь «представительная роль». Кстати, как это следует понимать? Имеется в виду лишь «иллюстративное» значение фактов? Каков же при таких условиях критерий их отбора? Очевидно, те факты, которые подтверждают «социологически обобщенные» выводы, привлекаются к исследованию, т. е. «представляют» в нем. А как быть со всеми остальными фактами, которые не «укладываются» в данное обобщение? Они остаются за пределами исследования? Но ведь это ведет к недопустимому произволу. Если же это не так и имеется в виду привлечение в каждом данном случае всех доступных исследованию эмпирических фактов, то выражение «представительная роль» теряет всякий смысл.

Мне кажется, что это зыбкий путь. Давайте попробуем оставить историю историей. Она, пожалуй, этого заслуживает, доказав сие хотя бы самим фактом своего более чем двадцативекового существования. Не будем превращать ее в какую-то иную — пусть даже более «совершенную», но все-таки иную — науку и попытаемся разобраться в том, что же она представляет собой в своем настоящем виде.

Я считаю, что для более убедительного ответа на этот вопрос следует прежде всего выяснить одно коренное понятие, а именно понятие историзма. В чем его суть? Историзм — восприятие явления (факта) в его развитии. Что значит «явление в его развитии»? Это значит, что явление должно быть рассмотрено в его прошлом (генезис) и настоящем, в его связях с другими явлениями. В простой констатации любого факта или события нет еще ни зерна историзма, строго говоря, его нет и в механическом перечне событий. История и хроника — понятия различные. История начинается там и тогда, когда явление, факт, событие рассматриваются в развитии.

Это основное требование научного подхода к историческим явлениям прекрасно сформулировано В. И. Лениным, которому чувство историзма было свойственно в высшей степени. «Самым надежным» и «необходимым» подходом к выяснению важнейших вопросов в общественных науках Ленин считал требование «не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» (Соч., т. 29, стр. 436). Мне кажется, что к этому исчерпывающему определению добавить нечего.

Но что значит для историка восприятие явления (факта) в его развитии? Как он может отразить это восприятие в процессе своей работы? Очевидно, существуют только две возможности: описание и осмысление. Поскольку историк не может ограничиться голой констатацией факта, но обязан рассматривать его в изменении, связях, опосредствованиях, то момент описания и неизбежен, и закономерен. И «стыдиться» этого не надо! Но, с другой стороны,— и это столь же закономерно — рассмотрение любого исторического факта в развитии предполагает не только его описание, но и его осмысление, т. е. оценку. Описание без осмысления не делает историческую работу научной, равно как осмысление без описания не в состоянии сделать научную работу исторической.

Кстати, к вопросу об «оценке». Я вовсе не боюсь этого слова и даже не понимаю, как в историческом исследовании можно обойтись без оценок, если, конечно, понимать под ними не примитивные вкусовые оценки типа «хорошо» или «плохо», но определение места, значения, удельного веса исторического факта в его соотношении и связях с другими фактами (т. е. опять-таки в развитии!).



Итак, момент описательный в историческом исследовании вполне закономерен и неизбежен, равно как и момент осмысления. Но из этого положения вытекает, на мой взгляд, принципиальное равноправие обоих моментов. Поэтому ставить вопрос о том, что «важнее» — описание или осмысление, в общем так же нелепо, как спрашивать, что необходимое для историка — факт или вывод, поскольку любой научно-исторический вывод может быть сделан лишь на основе обобщения фактов. Одинаково «важно» и то, и другое, а что касается соотношения (пропорций) «идеографического» и «нотетического» в историческом исследовании, то это соотношение должно быть естественным и органичным. В каждом отдельном случае вопрос о соотношении фактически решается (и всегда решался) талантом (или «чутьем») историка; правильное соблюдение пропорций и есть истинный критерий научной ценности его труда.

В заключение всего доказательства, быть может, небесполезно представить себе примерную схему процесса исторического исследования. Она включает следующие необходимые этапы: отбор материала, описание, сопоставление, анализ, обобщение, вывод, концепция. Конечно, это только схема, но даже она дает, на наш взгляд, достаточно четкое представление о «двуедином» характере исторической науки.

## ИСТОРИЯ — НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО?

Этот вопрос, если только его ставить, строго говоря, вытекает из предыдущего рассуждения. Он тоже не был забыт на дискуссиях и в журнальных статьях; о нем вспоминали довольно часто, но, как правило, лишь в негативном плане, не допуская даже возможности постановки такой дилеммы.

Сетования некоторых читателей на то, что трудам по истории не хватает ярких красок, эмоционального заряда, элементов «драматизации», характеризовались как «более чем при- скорбный факт». Кроме того, «со всей решительностью» отбрасывалась версия, сближающая историческое познание с эстетическим и, следовательно (!? — С.У.), противопоставляющая его естественнонаучному. На одной из дискуссий было отмечено, что исторические книги мало читают, ибо они сухи, а сухи они из-за недостатка литературного мастерства авторов. Но подобное объяснение тоже было признано поверхностным. Дело, мол, не в сухости изложения, как полагает наивный читатель, а в том, что историки не умеют еще вскрыть и показать реальные закономерности живого исторического процесса. Этот же коренной недостаток «нельзя возместить никакими литературными завитушками и даже действительным мастерством детали, исторического портрета и т. д.». (В данном случае, заметим в скобках, вопрос, затронутый «наивным читателем», фактически подменяется совсем другим, который, если читатель когда-либо и ставил, то совсем не в такой связи.)

Помимо всего прочего подчеркивалось, что, например, историю считал искусством, а не наукой в свои молодые годы Бенедетто Кроче. Таких же взглядов придерживался и Бертран Рассел. На Стокгольмском международном конгрессе историков (1960 г.) американский социолог Готшток называл историю «отчасти наукой, отчасти искусством, отчасти философией».

Таким образом, подавляющее большинство авторов статей и участников различных дискуссий решительно высказалось против сближения истории в каком бы то ни было плане с искусством. Мало того, подобное сближение признавалось характерной чертой буржуазной идеологии. Насколько это так, мы скажем позже; пока хотелось бы отметить, что

лишь один из участников этих обсуждений, а именно философ А. В. Гулыга (он же автор статьи «О характере исторического знания» в «Вопросах философии», 1962, № 9) ставил вопрос иначе. Он утверждал: «Историческое повествование, воспроизводя жизнь общества через единичные, наиболее характерные, типические события, решает задачу, родственную искусству». Он даже имел смелость напомнить, что о близости истории к искусству известно довольно давно и что в античном мире «эта идея олицетворялась символическим образом музы истории — Клио».

И действительно, некий «спор» о том, что есть история — наука или искусство, далеко не нов и уж во всяком случае старше спора об «идеографическом» или «номотетическом» характере исторической науки, хотя по существу оба они имеют некоторые общие черты. Пожалуй, небезынтересно (а быть может, и не бесполезно) бросить ретроспективный взгляд на самые ранние, изначальные истоки этого «спора».

Он зародился в глубокой древности, и еще тогда сложилось два направления, две «школы» в историографии. Первое направление — конечно, с некоторой долей условности — может быть названо научным, другое — художественным.

Одним из наиболее ярких представителей первого направления был знаменитый историк Полибий (205—125 гг. до н. э.), грек по происхождению, однако долго живший в Риме. Он был принят в римское «высшее общество» и вращался в среде видных политических деятелей Рима. Полибий написал фундаментальный труд, называвшийся «Всемирная история» (к сожалению, этот труд дошел до нас далеко не полностью), где он дает широкую картину истории всех стран, так или иначе соприкасавшихся с Римом. Это построение труда не было случайностью — основной вопрос, на который Полибий хотел дать ответ своим трудом, звучал

следующим образом: как и почему все известные части обитаемой земли в течение, примерно, полувека подпали под власть Рима?

Реализуя эту свою программу, Полибий предпринял историческое исследование, в котором центр тяжести лежал не на рассказе о событиях, но на мотивировке этих событий, выяснении их причинной связи. Полибий стремился пользоваться наиболее достоверными источниками: архивами, документами, надписями, рассказами очевидцев. К своим источникам он относился критически, из своего изложения изгонял все то, что ему казалось фантастическим или хотя бы малодостоверным. Форма изложения для него — всегда на втором плане, ибо основную задачу историка он видел не в том, чтобы показать или впечатлеть, но объяснить. Поэтому Полибия, как и его великого предшественника, греческого историка Фукидида, смело можно считать родоначальником научного (и даже научно-исследовательского) направления в историографии.

Другое блестящее имя в античности — Тит Ливий (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.). Он родился в городе Патавия (Падуя), получил серьезное риторическое и философское образование, примерно в 30-летнем возрасте переселился в Рим и был здесь близок ко двору первого римского императора Октавиана Августа. Его огромный труд (он тоже дошел до нас не полностью) назывался «От основания города» и действительно содержал подробное изложение римской истории с древнейших времен (со дня основания Рима!) и вплоть до первых лет нашей эры.

Еще в древности этот труд приобрел огромную популярность, стал каноническим и как бы лег в основу тех представлений о прошлом своего государства, которые получал каждый образованный римлянин. Чем объяснить такую популярность Ливия? Каково его *profession de foi* как историка?

С точки зрения Ливия, цель и задача истории научить людей тому, к чему им следует стремиться и чего избегать. «В том-то и состоит нравственная польза и плодотворность изучения истории,— писал Ливий в предисловии к своему труду,— что разнообразные примеры созерцаешь словно на блестящем памятнике: отсюда можно взять для себя и для государства образцы, достойные подражания, тут же найдешь и нечто гнусное, позорное, чего нужно избегать».

Но если история учит на примерах, то примеры, конечно, следует выбирать наиболее яркие, впечатляющие, действующие не только на разум, но и на воображение. Исходя из этих принципов, Ливий совершенно иначе, чем Полибий, относился к своим источникам. Для него почти не существовала проблема их критики; на первое место им выдвигался моральный или художественный критерий. Так, например, сам он едва ли верил легендам, связанным с основанием Рима, но они привлекали его благодарным для художника материалом. Мотивировка событий у него чисто внешняя. Форма изложения — всегда на первом плане. Не столько объяснить, сколько показать, впечатлить — такова задача Ливия как историка. Это историк-художник, историк-живописец. Его смело можно назвать родоначальником этого своеобразного направления в историографии (художественного, или, вернее, художественно-дидактического).

Я не собираюсь проследивать развитие обоих направлений на протяжении столетий. Конечно, направление научное довольно быстро возобладало над другим. Это закономерно, и в этом нет ничего удивительного. Скорее удивительно то, что «научное направление» не раз вырождалось в свою крайность, доводилось до абсурда. Одним из наиболее ярких примеров такого вырождения может служить пресловутое «гелертерство», типичное для определенного

периода развития буржуазной науки. Кстати, оно типично не только для немецкой школы, как принято иногда думать, но для буржуазной историографии в целом. Его с уничтожающей иронией высмеял еще Анатоль Франс в своей новелле «Господин Пижоно».

Герой этой новеллы — археолог. Он автор следующих работ: «Заметки о ручке египетского зеркала, находящегося в Луврском музее» и объемистого труда, посвященного одной из бронзовых гирь, найденных при раскопках Серапеума. Последняя работа открыла ему двери Института. Вдохновленный своими успехами на научном поприще, г-н Пижоно одно время даже вознамерился создать обзор всех мер и весов, применявшихся в Александрии в царствование Птолемея Авлета. Однако он вовремя остановился. И вот как он объясняет причины этого решения: «...я вынужден был признать, что тема столь общего характера выходит за рамки подлинно научного исследования, так как, работая над ней, серьезный ученый на каждом шагу рискует впасть во всякого рода необоснованные суждения. Я понял, что попытка рассмотреть одновременно несколько различных предметов неизбежно приводит к нарушению основных принципов науки. И если я каюсь сейчас в своем заблуждении, если признаюсь в этом непостижимом стремлении охватить необъятное, то лишь в назидание молодым людям, дабы на моем примере они учились обуздывать свое воображение. Оно — злейший наш враг. Ученый, не сумевший победить этого врага, навеки утрачен для науки. Я до сих пор содрогаюсь при мысли о том, куда мог завести меня мой дерзкий ум. Я был всего на волосок от того, что именуется историей; какое падение! Я чуть не снизошел до искусства! Ведь история — не что иное, как искусство или в лучшем случае лженаука. Кто в наши дни не знает, что историки были предшественниками археологов, точно так же как астрологи

были предшественниками астрономов, алхимики — предшественниками химиков, а обезьяны — предшественники человека...»

И, говоря, наконец, о своем новом ученом труде, г-н Пижоно подчеркивает, что он «проникнут мудрой умеренностью». В чем же она заключается? «Я излагал предмет, не уклоняясь в сторону. Я не высказал ни одной обобщающей мысли. Я избегал всяких суждений, сравнений, аналогий и выводов...» Вот истинное кредо представителя кабинетной науки, типичного «гелертера», блестящий пример доведения понятия научности до абсурда.

Но оставим крайности и попытаемся прийти к какому-то определенному выводу. Вернемся к нашему рассуждению о соотношении «идеографического» и «номотетического» в исторической науке. Мне представляется, что признание равноправия и закономерности обоих этих начал предопределяет решение вопроса о соотношении «науки» и «искусства» в труде историка. Если признается право (и даже необходимость) «описывать», неизбежно возникает вопрос как описывать. А когда возникает в любом человеческом деле вопрос как — не только что, но и как! — тогда-то и рождается искусство. Причем в труде историка это вовсе не «литературные завитушки», не «драматизация прошлого», но подлинное вживание в изучаемую эпоху, творческий процесс, основанный как на расчете, так и на интуиции, а быть может, даже — хотя это слово почти безнадежно скомпрометировано — и на вдохновении. Это то, что имел в виду Эйнштейн, когда он утверждал: «В научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют однородного мыслительного процесса».

Именно в этом смысле мне представляется возможным говорить об элементах искусства в творческом

труде историка. Именно в них — секрет мастерства, тот самый секрет, который издавна превращал и ныне превращает ремесленника в мастера своего дела. Причем эти элементы, на мой взгляд, ничуть не противопоставлены, ничуть не «вредят» научному подходу, и мне непонятно, почему их надо чураться почти с суеверным ужасом.

Быть может, потому, что некоторые буржуазные историки, как уже говорилось, отождествляют историю с искусством? Но, во-первых, они допускают именно отождествление, что, конечно, абсолютно неприемлемо, поскольку история в этом случае перестает быть наукой. Во-вторых, важно понять, почему такое отождествление допускается, каковы его корни?

Все дело заключается опять-таки в альтернативном подходе. Отождествлять историю с искусством может лишь тот, кто сводит ее полностью к «идеографии», кто видит в ней только единичное и неповторимое, кто стоит фактически на позициях агностицизма. Подобное отношение к истории достаточно четко сформулировал уже упоминавшийся Готшток. По его мнению, «зияющая пропасть отделяет историю, как она происходит на самом деле, от той истории, которую мы знаем». А если это так, то «зияющая пропасть» может быть заполнена лишь при помощи нашего воображения, что и является актом воссоздания или интерпретации, который сродни искусству.

Конечно, далеко не с этих позиций подходим мы к вопросу об элементах искусства в творческой работе историка. Принципиальное различие исходных позиций определяет и различие выводов. Кстати сказать, эти выводы давно уже были сформулированы и к тому же в гораздо более впечатляющей форме, чем это возможно для автора настоящих строк. Я имею в виду известное высказывание В. Г. Белинского, хотя парадокс заключается в том, что его слова любят



приводить явные противники какого бы то ни было сближения понятий «искусство» и «история». Вот эти слова: «В том-то и заключается трудность условий исторического таланта, что в нем должны быть соединены строгое изучение фактов и материалов исторических, критический анализ, холодное беспристрастие с поэтическим одушевлением и творческой способностью сочетать события, делая из них живую картину, где соблюдены все условия перспективы и светотени» (Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, стр. 52—53).

Поэтому, говоря об элементах искусства в историческом исследовании и связывая их с «описательным началом», я понимаю это «начало» достаточно широко. Описанию подлечит не просто «собранный материал» (у историков существует такая излюбленная стадия работы — сбор материала), не просто «представительные» факты, но описание должно воссоздавать исторический фон, обстановку, т. е. «живую картину», где «соблюдены все условия перспективы и светотени».

Другими словами, я — за живую, полнокровную историю с фактами и событиями, с действующими лицами, характеристиками, выводами или даже «уроками».

Вопрос об «уроках» тоже не безынтересен. Уроков истории в наше время не признают не только такие скорее смешные, чем опасные «зубры», как уже знакомый нам господин Пижоно, но и куда более «действенные» фигуры современной буржуазной науки. Так, по мнению Т. Довринга, история «ничему не учит», не имеет никакой «практической или дидактической ценности». Это утверждение снова связывается с известными уже нам формулами единичности, уникальности, неповторимости явлений истории, а главное, с «невозможностью предвидеть», т. е. с отрицанием возможности выведения закономерностей исторического развития. Таким образом, современные позитивисты смыкаются с по-

зитивистами времен Огюста Конта, с той, однако, существенной разницей, что ныне они исходят отнюдь не из «кабинетно-геллертерских», но из весьма определенных и почти не завуалированных политических установок, которые точнее всего определяются словом антикоммунизм.

Нет, история учит и должна учить! История, исторический процесс, понимаемый в духе творческого марксизма, позволяют и предвидеть, и приходиться к твердым выводам на основе изучения повторяемости явлений, т. е. позволяют устанавливать закономерности. Ибо любой закон жизни природы или общества зиждется на повторяемости явлений. Он и есть не что иное, как обобщение, осмысление этой повторяемости.

История — наставница жизни! В этой, несколько старомодно выраженной мысли (вспомним Ливия), пожалуй, не все так уж наивно. Кое-кому тут стоило бы призадуматься. И если урокам истории действительно не всегда верят, если они далеко не всегда убеждают как отдельных людей, так и целые народы, это никакое не возражение, ибо они существуют, они действуют, и тот, кто не желает с ними считаться, — платится.

В подтверждение этих своих мыслей приведу слова человека, который, полагаю, неплохо разбирался в истории, — слова В. О. Ключевского: «История, говорят не учившиеся истории, а только философствующие о ней, никого ничему не научила. Если это даже и правда, истории [это] нисколько не касается как науки: цветы не виноваты, что слепой их не видит. Но это и не правда: история учит даже тех, кто у нее не учится; она их проучивает за невежество и пренебрежение. Кто действует помимо ее или вопреки ей, тот всегда в конце концов жалеет о своем отношении к ней. Она пока учит не тому как жить по ней, а как учиться у нее: она пока только сечет своих непонятливых или ленивых учеников, как

желудок наказывает жадных или неосторожных гастрономов, не сообщая им правил здорового питания, а только давая им чувствовать ошибки их в физиологии и увлечения их аппетита».

## ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИИ

А теперь — об истории уже в плане ее не столько научного, сколько общественного значения. Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, в наше время, как никогда раньше, возросло именно общественное значение, общественная роль наук.

Чем это объяснить? В первую очередь тем, что наука и ее реальные достижения все глубже и многостороннее проникают в человеческую жизнь, все в большей степени становятся важнейшим по своему удельному весу фактором развития общества. Это, вероятно, ощущает, в той или иной степени, каждый, но есть еще одно обстоятельство, которое, быть может, не столь явно бросается в глаза, но которое, тем не менее тесно связано с возрастанием общественной роли науки. Меняются самые формы проникновения науки в жизнь. В данном случае я имею в виду то новое явление в общественной жизни, которое принято именовать термином — на мой взгляд, не очень удачным, но я не могу предложить лучшего — «массовая коммуникация».

Массовая коммуникация — детище XX века. Конечно, и до нашего столетия существовали различные и довольно широко развитые средства связи между людьми, существовали газеты, журналы, почта, даже телеграф, но все это, безусловно, не идет ни в какое сравнение с теми поистине всеобъемлющими и, главное, мгновенными средствами связи (коммуникациями), которые появляются в наше

время. Разве можно было помыслить до изобретения радио и телевидения о столь мгновенном доведении любой информации до столь необъятной аудитории? А такие средства связи, как телефон или авиация? А такой массовый вид искусства, зрелища (и опять-таки связи!), как кино? Причем кино, радио, телевидение не только средства связи и информации, но и великие средства пропаганды, пропаганды — еще раз подчеркиваю — массовой и моментальной, а потому и наиболее действенной.

В мою задачу никак не входит оценка этого явления в целом. Это — грандиозная проблема. Недаром известный физик и популяризатор науки Артур Чарлз Кларк говорит о том, что уже недалеко то время, когда расстояния на нашем земном шаре перестанут сокращаться, так как он превратится в точку, не имеющую размеров. На наших глазах меняется самый строй жизни человечества. И массовая коммуникация играет при этом далеко не последнюю роль. В частности, основной объем информации доводится ныне до «потребителя» именно ее специфическими средствами.

Все сказанное относится в полной мере и к науке. Об ее успехах и достижениях «потребитель» (так называемый «широкий» читатель или зритель) узнает, конечно, не из специальных исследований и монографий. Да они и не пишутся в расчете на миллионную аудиторию. Газета, популярный журнал, радио, телевизор, наконец, кино — вот в наше время основной источник любой, в том числе и научной информации для самых широких кругов населения. Это так, и к этому нельзя относиться высокомерно или пренебрежительно. Это — знамение эпохи. Наука выходит из кабинета в массовую аудиторию, на улицу, на площадь. И кто этого не понимает или не приемлет, рискует отстать, оторваться от эпохи, деградировать в сторону «чистой науки», трактуемой в духе уже не раз упоминавшегося нами господина Пи-

жоно. Для нашего же времени это более чем нелепый анахронизм.

Вот в чем заключается, на мой взгляд, возрастание общественной роли наук, и исторической науки в частности. Однако об истории пока еще ничего не было сказано. Каково же именно ее общественное значение? Какое место должно быть отведено ей среди других общественных наук?

История — единственная наука, занимающаяся непосредственно и конкретно осмыслением общественного развития и его перспектив. Но ее особая роль заключается не только в этом.

Материал истории служит основанием, фундаментом всех остальных общественных (гуманитарных) наук. Совершенно очевидно, что любая общественная наука для своих обобщений и выводов должна пользоваться историческими данными, т. е. конкретным материалом, почерпнутым либо из истории самой этой науки, либо — более широко — из истории общества в целом.

История воплощает связь всех общественных наук между собой, она оказывается как бы тем сквозным стержнем, который объединяет все эти науки. Причем объединяет их вовсе не наличие обязательных «исторических примеров» но скорее самый «дух историзма», поскольку он должен — неизбежно и закономерно — пронизывать изучение всех общественных явлений.

И, наконец, особое значение истории заключается в ее поистине великой воспитательной силе. Ни одна из других общественных наук не способна в такой степени, как история, внушить уважение к общечеловеческим ценностям и славным национальным традициям, воспитать чувства интернационализма и чувства национальной гордости, глубокого и осознанного патриотизма.

Именно в силу этих особенностей истории как науки перед ней всегда стояла и стоит высокая задача — осуществление исторической правды. Однако, если говорить прямо, это далеко не легкая задача, и выполнить ее не так просто.

Нам хорошо известно, что каждый отдельный историк, каждый автор — иногда совершенно бессознательно — пропускает освещение фактов и событий через призму своего собственного к ним отношения, своих собственных пристрастий и антипатий, своего собственного мироощущения. Нам также хорошо известно, что существует и более общая, но вместе с тем не менее определенная и обусловленная точка зрения — классовая идеология. Мы знаем, наконец, что каждая эпоха склонна по-своему, в рамках свойственных ей общих условий жизни и развития интерпретировать не только прошлое, но и настоящее. Так можно ли вырваться из этого заколдованного круга личных пристрастий, партийных и классовых интересов, условий и условностей эпохи? Посильна ли эта задача для каждого историка в отдельности, для исторической науки в целом?

По моему глубокому убеждению, сила и жизненность марксистской науки об обществе, ее безусловное превосходство над всеми бесчисленными течениями, школами и направлениями науки буржуазной состоит именно в том, что марксизм имеет мужество ответить на этот вопрос отрицательно. «Материализм включает в себя, так сказать партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы» (В. И. Ленин. Соч., т. 1, стр. 380—381).

Буржуазные историки, философы, социологи, наоборот, как правило, утверждают, что они отвлекаются от классовых и партийных интересов, что они способны прийти к «самостоятельным», «независимым», объективным выводам, и именно поэтому на деле (в лучшем случае — неосознанно,

в худшем — с более или менее ловко скрываемой «тенденцией») всегда оказываются послушными исполнителями социальных заказов своего класса.

Марксистская же наука никогда не лицемерила и не отрицала того, что она партийна, и в этом осознании своей партийности ее наивысшая сила и правдивость. Подобно тому, как свобода есть осознанная необходимость, так осознанная партийность науки об обществе есть ее наиболее возможная объективность. Она, в принципе, достижима потому, что марксизм воплощает мировоззрение класса, за которым будущее. Мы говорим, что только марксистская методология способна преобразовать науку об обществе в подлинную («номотетическую») науку, теперь мы можем добавить, что только эта же марксистская методология способна быть основой правдивой, объективной истории.

Но если это так и если наша историческая наука партийна, это вовсе не значит, что нам дано право подменять партийность узким догматизмом. Если марксистская историческая наука, будучи партийной, вместе с тем может и должна быть наукой объективной, это опять-таки не значит, что нам дано право подменять объективность дешевой конъюнктурщиной. Однако за последние годы, увы, не раз приходилось наблюдать, как наши историки (или лучше сказать, мы историки) отступали от требований марксистской методологии и шли на эту недопустимую, непростительную подмену.

В чем же дело? Каковы причины этого печального явления? Я думаю, они ясны каждому. Конечно, крайне отрицательную роль сыграл культ личности и сопутствующая ему обстановка. Но были и другие причины. Кое в чем, вероятно, виновны и сами историки. Однако поиски «виновных» не такая уж насущная в данный момент задача. Куда целесообразнее, на мой взгляд, подумать всерьез о том, какие «реликтовые» явления недавнего прошлого должны быть возмож-

но скорее и без остатка уничтожены. Уничтожены в интересах исторической науки.

Здесь, очевидно, на первое место следует поставить то, что более всего вредит объективному подходу, объективной оценке исторических фактов и событий. Следовательно, речь должна идти именно о догматизме и конъюнктурщине.

Конъюнктурщина — злейший враг (враг номер один!) исторической правды. Любая уступка ее дешевому соблазну, пусть даже из «самых лучших» побуждений, жестоко мстит за себя.

Всякие натяжки, умолчания, подтасовки или искажение фактов, стремление выдать желаемое за действительное — все эти давным давно известные и в общем нехитрые «секреты производства», которыми некоторые историки считали возможным пользоваться, исходя из ложно понятой политической целесообразности (конъюнктуры), оказывают в лучшем случае лишь временное воздействие на «потребителя». Рано или поздно (а чаще всего в самый «неподходящий» момент) все эти изъяны выявляются, все «выходит наружу», и ничто так не подрывает веры в историческую науку, ее авторитета, как подобные недобросовестные манипуляции.

Поэтому их более чем кратковременный эффект поистине несоизмерим с длительностью вреда, который они же и наносят. Образно говоря, эффект равен грошовой прибыли, а потери — миллионным убыткам. И никакая «двойная бухгалтерия» здесь не спасает. Она вообще неприменима в науке. Конъюнктурщик же, о котором давно и справедливо сказано, что он работает как бы по принципу мотора У-2: первое «у» — угадать, второе «у» — угодить, конечно, никакой не историк, не ученый, но всего лишь запущенный на время мотор, полуавтомат, заправленный к тому же не высококачественным горючим, но дешевой, дурнопахнущей смесью.



Не меньший вред исторической науке и исторической правде наносит догматизм. Догматизм — это не только повторение, как принято иногда считать, давно затверженных формул, провозглашение всем известных, избитых истин, причем, как правило, с самодовольным видом «первооткрывателя». Это еще полбеды. Нет, догматизм более сложное и более опасное явление, ибо догматик, как и его собрат конъюнктурщик, вынужден идти — и это, увы, неизбежно — на нарушение исторической правды: он втискивает материал в окостеневшие схемы, он совершает насилие над фактами, он вынужден об одном умалчивать, другое урезывать, третье приукрашивать, дабы фактический материал более или менее «стройно» уложился в заранее данную и, как правило, заимствованную схему.

Догматик боится собственных мыслей, самостоятельных обобщений и выводов. Поэтому надежным и спасительным убежищем ему служит чужой авторитет, «авторитетная» цитата. Всем известны, к сожалению, довольно многочисленные «научные» работы — статьи и даже пухлые монографии, — где отдельные робкие соображения и более чем тощие выводы теряются в густом мачтовом лесу незыблемых цитат. Что есть для авторов подобных работ собственная мысль? Всего лишь кратчайшее расстояние между двумя цитатами!

Но и это еще не все. Боясь или разучившись самостоятельно мыслить, догматик не в состоянии предположить такой способности и у своего читателя. Отсюда — докторальный, не допускающий возражений тон, убежденность, что его устами глаголет сама истина (в последней инстанции!), и как следствие всего этого — самое решительное, без малейшей тени колебания, осуждение любого «инакомыслия», как вредного, порочного, подрывающего «устои».

И, наконец, догматик вреден и опасен тем, что он исподволь, неприметно, но в конечном счете утверждает

статическое, пассивное отношение к вещам и явлениям, т. е. утверждает консервативное мировоззрение. А это, пожалуй, наихудшая опасность. Догматизм по существу разоружает историка-марксиста, делает его беззащитным, более того — превращает в легко уязвимую мишень для врага.

Итак, нет сомнений, догматизм и конъюнктурщина подлежат истреблению до конца. Этого требуют коренные интересы самой исторической науки. Возможно ли это? Бесспорно, ибо, как уже подчеркивалось, речь идет об остаточных, реликтовых явлениях.

Одно из наиболее действенных средств — создание творческой деловой атмосферы. Ее даже не столько следует создавать — она фактически в наши дни уже создана, — сколько следует всемерно развивать и поддерживать. Такая атмосфера возникает в процессе самой работы, в ходе свободных дискуссий, в обстановке дружеской критики и взаимопомощи.

Для этого ныне есть все условия. Отошли в прошлое — и, не сомневаюсь, навсегда — разгромные статьи и рецензии с обязательным навешиванием ярлыков, с прокурорскими обвинениями на политической подоплеке. Не вернутся, уверен, назад и так называемые «обсуждения», которые превращались в столь хорошо и печально памятные многим «проработки», с последующими неизбежными «оргвыводами». Надеюсь также, что исчезла навсегда более чем колоритная фигура критика-заушателя, творчески бесплодного, часто не опубликовавшего лично ни строчки, но зато способного не оставить камня на камне от любой, даже самой дельной работы. Для такого типа людей избиение ближнего было средством не только карьеры, но и самого существования. Кстати, эти, с позволения сказать, критики всегда орудовали — и, надо отдать им должное, с большой сноровкой — дубиной догматизма и обухом конъюнктуристины.

Все это ныне совсем не «в моде». Обстановка, которая царит теперь на многочисленных дискуссиях, обсуждениях, в научной печати, самый характер споров, критики — все это свидетельствует о том, что за последнее время наша научная и общественная жизнь прочно утверждается на деловой и творческой основе. Научное — партийное и объективное — историческое исследование, освобожденное от связывавших его пут культа личности, от устарелых и окостеневших догм, от начальственных окриков и «проработок», имеет все возможности и перспективы беспрепятственного развития. Теперь — в гораздо большей степени, чем прежде,— очень многое зависит от самих историков, от их преданности науке, от их верности марксистско-ленинской методологии, от их научного и гражданского долга. Историческая наука важна и актуальна. Ее успешное развитие — дело общественно-государственного значения. Это так, но только так и должно быть в нашей стране, в нашем обществе, где наука все в большей и большей мере становится непосредственной производительной силой социализма.

1965 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора . . . . .	3
Рим — Лондон — Париж . . . . .	5
Акрополи Эллады . . . . .	77
Помпеи — город вечной жизни . . . . .	137
Нил течет от пирамид до Асуана . . . . .	167
Об исторической науке . . . . .	227
Актуальна ли история как наука? . . . . .	229
История — наука точная или описательная? . . . . .	237
История — наука или искусство? . . . . .	245
Общественное значение истории . . . . .	255

**Сергей Львович Утченко**

### **Глазами историка**

Редактор издательства Ф. Н. Арский

Художник И. В. Царевич

Технический редактор В. Г. Лаут

Сдано в набор 25/XII 1965 г. Подписано к печати 2/III 1966 г.

Формат 70 × 108<sup>1/32</sup>. Печ. л. 8,25. Усл. печ. л. 11,55

Уч.-изд. л. 12,9. Тираж 26 000 экз. Т-04201. Изд. № 754/65.

Тип. зак. 3581. Цена 86 коп.

Издательство «Наука»

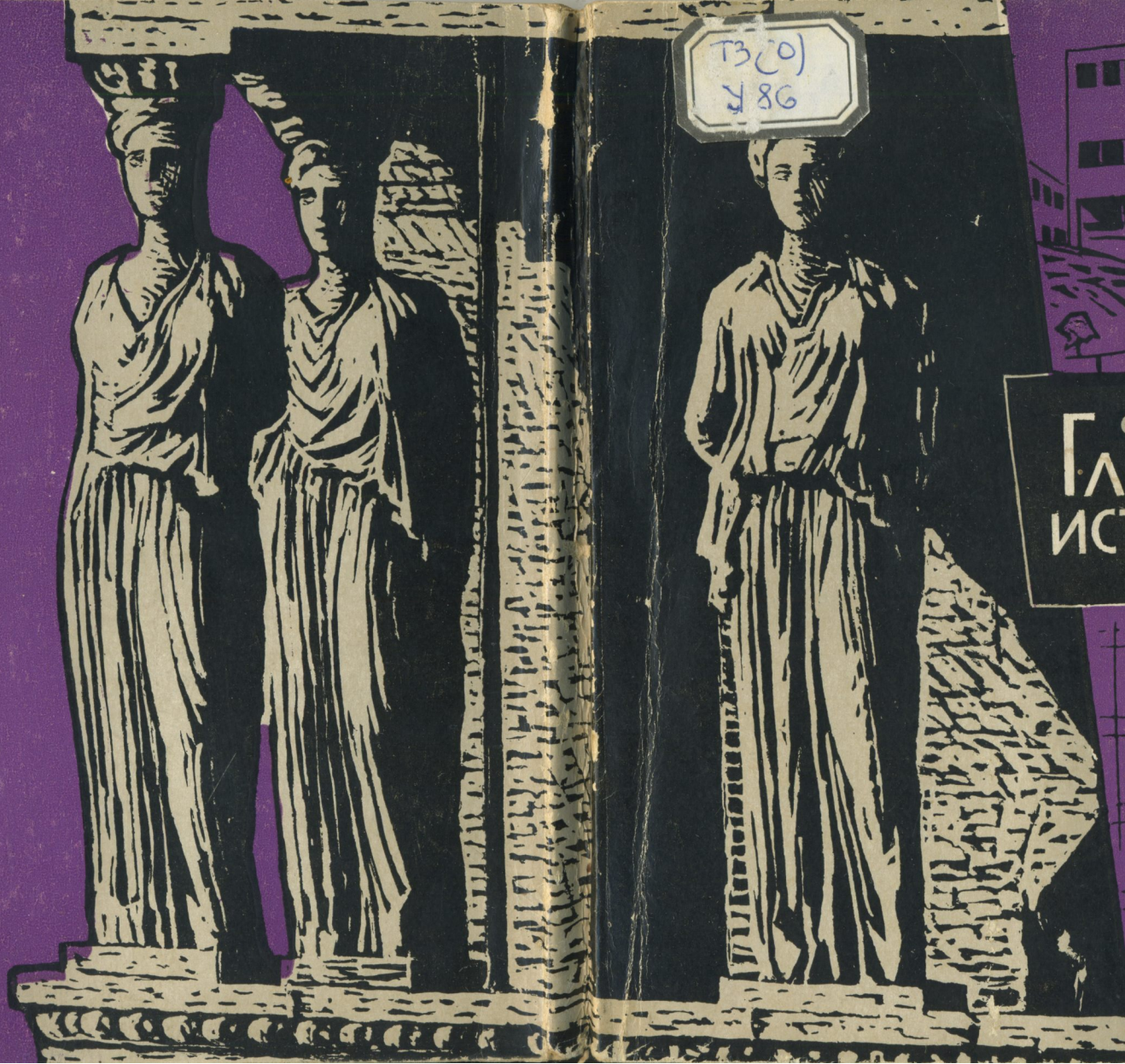
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука»

Москва, Г-99, Шубинский пер., 10



ТЗ(0)  
486



С. Л. УТЧЕНКО  
ГЛАЗАМИ  
ИСТОРИКА

